Михаил Жутиков

 mihailzhutikov@yandex.ru

 8(963)613-27-31,

 Москва

 **ЗАПИСКИ ТРЕПАНГА**

*От издателя. Записки недавно скончавшегося В.В.Щ\*\*\*, программиста и математика, человека не совсем обычного мироощущения и крайне несчастливой судьбы, обнаружены в различных тайниках на месте его последнего жизненного пристанища. Начатые чернилами в тетради, они продолжены карандашом на отдельных листках; их порядок восстановлен, но их жизненная основа открывается из записей лишь отчасти, и мы должны воздержаться от какой-либо их интерпретации. Список т.н. «действующих лиц», начатый сверху странички (к тому же не первой, а одной из последних) и продолженный на ее полях и на обороте – карандашом, с сокращениями, с видимой торопливостью и угасающим почерком – нами восстановлен в той последовательности, какая, по-видимому, складывалась в те минуты в сознании автора.*

 *Трепанги* – несколько видов голотурий

 из класса морских беспозвоночных типа иг-

 локожих, обитающих на морских мелководь-

 ях. Донные ползающие формы. Служат объе-

 ктом промысла.

 *Энциклопедич. словарь.*

 Действительно, на свете уже случилось

 множество подобных примеров. Говорят, в

 Англии выплыла рыба, которая сказала два

 слова на таком странном языке, что ученые

 уже три года стараются определить и еще до

 сих пор ничего не открыли. Я читал тоже в

 газетах о двух коровах, которые пришли в

 лавку и спросили себе фунт чаю.

 *Н. Гоголь.*

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: Днепрогэс, метро, Пуанкаре, Ньютон, муравейник, Кант, ворона, Жан Маре, пленумы ЦК КПСС, кот, корова, крысы, три кита, Софи Лорен, Первый Белорусский фронт, солнце, мальчик 5-ти лет, продавщица, Горький, тараканы, украинская ночь, Генри Форд, лягушки, лампочка, памятник вождю, санитар, скорость света, Декарт, проблема досуга, генетики, мармелад, русский народ и другие.

 1.НЕ В ФОКУСЕ

 (октябрь)

 …Почему же, дьявол побери, я не хочу светлого будущего?

Потому, я отвечу, дьявол побери это и всех вас, что я вижу это светлое будущее, чтоб его побрали черти или кто для этой службы есть, чтоб им и этому будущему был один конец! Что я выпил – вздор, но я вижу, вот в чем беда, в том и беда! – я вижу это светлое будущее, чтоб его взяли все черти на земле. Я вижу его перед собой в метро – выпил-то я вздор, ерунду, потом расскажу…

Я вижу это светлое будущее, чтоб его… прямо перед собой в вагоне. Да, не нужно искать: прямо передо мной сидят на угловом сиденье две… пусть будет две бабехи… а как прикажете это называть? Чтоб их взяли те, кто для этого приспособлен, а я-то тут при чем?

Чтоб и меня тоже взяли туда же, куда и вас всех.

Эти крайние сиденья, где трое людей средней комплекции… ну, вы знаете, помещаются немного стиснувшись – раньше, у любимейших моих, сказали бы: *несколько* стиснувшись… Несколько! Несколько стиснувшись – так сказали бы самые лучшие, прежние; впрочем, что ж теперь поминать. Теперь не скажут. Они ушли, оставили только великий свой язык. Свой, подчеркнул бы я, - не наш теперешний, чтоб его… куда б его послать. Они оставили свой язык. Теперь говорят: понты, мочилово, повелась на прикол, пробей по базе. Олигофрены? Черта с два. Это светлое будущее говорит.

Ну, так вот. Несмотря на неудобство втроем, это для меня удобнейшие места в вагоне, на этих крайних сиденьях – так, что даже если они все заняты, я иногда пропускаю поезд – конечно, не в те часы, когда это бессмысленно. Я разумен, в конце концов, будем это предполагать, так или нет? Я только с виду тупой, а впрочем, не все ли равно, чтоб меня и вас всех со мною вместе, чтоб вас всех черти взяли.

…Я, пожалуй, не стану поминать нечистого или хоть пореже; лучше как-нибудь иначе, что ли: что же поминать? Лучше, я говорю, как-нибудь избежать, чтоб вас всех! Я так или нет говорю, чтоб вас?.. Видно, без этого мне никак не рассказать.

Самое удобное из мест – конечно, крайнее у стенки в углу: можно положить локоть на подоконник… даже если сидеть и не одному, а пусть и втиснутся слева (справа) еще двое, я так, безо всякой цели повторю: лучше одному, а нет… ну, ради бога. На самом деле не нужно вовсе никуда ездить, все и так перед тобою! Весь Божий мир перед тобой, куда ты к дьяволу едешь? За каким рожном? На какой-нибудь завалинке сидя, одной-единственной, поймешь столько же, сколько объездив свет. Если есть *чем* понимать. Ну, это все знают.

Вот я еду… кто меня знает зачем, и вот оно и есть, это светлое будущее, чтоб его взяли кому положено – вот именно, прямо перед глазами, в этом-то дело: я вижу его перед собой! – чтоб его забрали, это светлое будущее куда его там забирают, а нас бы тут оставили, хоть на время.

Вот, и сидит передо мной это светлое будущее, Гог и Магог, две, как бы сказать, подруги, эфемериды. Пусть будет так. Подруги, чтоб их… не будем ничего добавлять, таких же две в любой момент, может быть, сидят в любом месте мира, на пляже, может быть, в Калифорнии – такие же точно! – скажете, иные? Иначе одеты, лучше выглядят? Эва! – говорили прежние, те прежние, которых только и можно слушать. Лучше выглядят! Приятнее сложены, загорелы и все зубки вместе? Босоножки с золотой уздечкой между большим и средним пальчиком, ноготки в чем-то перламутро-розовом и пупочек в золотой пыльце? Эва! То же самое, я вас уверяю; еще не факт, что первая отмытая с улицы будет хуже, а впрочем, это все знают.

У обеих остроконечные ногти, выкрашенные такой мутной зеленью – у одной поядовитей и подстертые – якобы, мода, а до моды им, бедным, как вьетнамцу с бамбуковым коромыслом до Пикадилли, чтобы тех и этих тот же самый побрал, что и вас с нами. Такие-то обе, что Пушкин называл *vulgar*, а по-нашему теперь и само слово прижилось, так что и по-нашему то же самое, вот они-то и есть это самое. Что-то уж такое светлое в будущем, что не надо бы и будущего, чтоб его…

Обе в синих джинсах, одна в более темных, другая – в тертых голубых, с длинным рядом металлических пуговиц внизу штанин, раз, два… четырнадцать, самые нижние расстегнуты и узкая штанина, разлезшись надвое на этом участке, наползает на черные туфли-«лодочки», стоящие на полу носками внутрь. Колени джинсовые раздвинуты, голени с явной кривизной наружу. В целом описать трудно, но похожа на небольшого компактного боксера с крупной головой в светлой клочковатой шевелюре, со следами былой смазливости, теперь только грубости в мясистом лице – немного курносом, с довольно крупными глазами; вообще с челюстной, широкой головой. Другая, та, что в джинсах темнее, никогда не была смазливой, а что уж теперь. Нос крючковатый, но не кавказский, а как-то загнувшийся книзу. В целом и слов не найдешь что о ней сказать. Расстегнута черная длинная кожаная куртка, и складки живота выступают через голубую водолазку, вроде бухты шланга: две складки друг на друге живота, едва стянутого снизу джинсами. И вот эта, усевшись, начинает извлекать тыквенные семечки… тут, как бы сказать, тут нужен художник, чтоб живописать как следует. Она достает из одного кармана куртки эту семечку – все между разговором Бог знает о чем, в этом грохоте не слышном, но непрерывном – вот лучше так, это все-таки лучше, чем ругаться, эх! она ее достает и другой рукой (машинально, что ли), двумя теперь руками вместе расщепляет ее, и вот там это тыквенное семя, это колдовское творение, которое никому из них, из нас не то что произвести, а увидеть – счастье незаслуженное! она его в рот. То есть вначале она удерживает семя вертикально и сжав его, вот: извлекает зелененькую эту матрицу тыквенной жизни, жизни на Земле, и отправляет его в рот на переработку. А в это же время что-то непрерывно объясняет подруге рядом сидящей, боксеру, – я предполагаю, о *несправедливости* чьей-нибудь к ней, обиде незаслуженной. Я только предполагаю, по суровости лица судя, я не слышу, нет. Вагон грохочет, а главное, визг, писк этот стальной, неживой… нехороший этот визг, враждебный тыквенной семечке и жизни вообще всяческой, если она жизнь хоть какая-нибудь. Быть может, прогресс-то именно с этим его гадким визгом и производит в конце концов таких подруг и такое будущее. Я выпил, правда; немного, ну… то есть не так чтобы мало… ну, что ж считать. Отметили что-то такое на службе, ну что-то там, плевать.

И вот она отправляет это семя в рот, жующий, как жернова, а скорлупу другой рукой в другой карман и все говорит, говорит, а другая ей отвечает, но покороче. Они куда-то едут, да! не как-нибудь, а по делам. Без дела тут я один. То есть они, скорее всего, домой, да и я… но ведь я не о том. Лучше вот как: представьте себе муравейник – вы ведь видели? Вы ведь бывали когда-нибудь в лесу, не всё же в этом резаном визге спешили «по делам»? Ну вот. Представили? Муравейник, и всё кишит по нему вверх и вниз, туда-сюда, это уже образ мировой, мировой! – всюду, чуть не в философии! и вот наверху где-нибудь полеживает один на спине, скрестив лапки: каково это? Лежит на спине и две лапки передние перед собой скрестил, а остальные четыре как уж там (у него ведь шесть?) – другими, может, как-нибудь переберет так и этак, от делать нечего, может, почешет где. Каково это? Другим-то муравьям, деятелям-то каково? Там ведь смысл, смысл! А тут что? Надругательство тут, пощечина, плюет такой скрестивший лапки прямо на общество нахально в самое лицо. Лежит себе, наплевать ему… не то чтобы на все. Ну нет, не на все. Не на все ему наплевать, а лежит он, представьте! ведь это Бог знает что такое, ведь это не характер даже, а… каково ему одному, что ему, например, делается на душе, такому, как ему на душе? Одному? Все кругом… а он? Все, знакомые, близкие, кто у нас там: сослуживцы, соседи, сокамерники, что там еще бывает – все, все – взад-вперед, взад-вперед, взад-вперед, вверх-вниз, тут же перед ним: взад-вперед, вверх-вниз, а ты один, один! Никого такого, ни единого, а он разлегся. Разлегся! А муравейник пропадай! А завтра снег, зима! А перед ним взад-вперед, взад-вперед… выдержал бы он? Это же Робеспьер, если взять по масштабу, эта силища такая, что аналогии в человечестве не подберешь.

Потому и не лежит на самом деле у них никто, если не мертвый только. А живому не вынести чужого движения, всех вокруг – куда-то, зачем-то движения. Не выдержать сердцу муравьиному, а тем паче слабому сердцу человечьему такого общего движения. Движения к светлому, что ли, будущему, пусть его возьмут те, кому положено, туда, где у них помойка. Я ведь… куда я ехал? Чтоб меня эти самые взяли, куда я ехал-то?

А вот они выходят обе, поднялись.

Понимаете ли вы, понимаете ли теперь, что такое это светлое будущее?

Домой я ехал, вот куда, в несокрушимый наш городок, два часа еще на автобусе, ехать еще и ехать, эх… Автобус сам по себе хороший – экспресс, посплю… да, прогресс; знаю, что вы заметили. Да только не будь его, прогресса, за каким бы… этим самым стал я куда-то ездить? Жил бы да жил на одном месте.

Сейчас вышел из автобуса, насиделся, устал… светила луна. Знаете ли вы украинскую ночь, черт бы вас всех побрал? Никакую не украинскую, а в Подмосковье, весьма не ближнем? Знаете ли вы, чтоб вас всех, – что с середины неба глядит месяц???

…С утра не сразу попал ногой в штанину, но это ничего. Ведь и Пуанкаре не сразу сформулировал теорию относительности, которую потом приписали наплевать кому. Я хочу сказать, что он, конечно, первый, но и ему потребовалось время. Нужно же было, как-никак, осознать настоящее значение преобразований Лоренца. Так и я не сразу со штаниной; но тут уж моя, не отнять. Я говорю, штанина все-таки не теория, а прямо на мне, так что вряд ли ее припишут кому другому. А хоть и припишут, пусть еще доберутся, чтобы снять. Я ведь, куда я ехал вчера? Куда мы все едем-то? Мы приехали уже!!! Ну да, я ведь хотел о том светлом будущем, куда мы едем-то все. Вот о них, о светлом: Бог ведь их пожалел, этих подруг, он дал им забытье. Забытье не только будущего, но и прошлого. Творец их пожалел, уважил творение свое – они не в будущем и не в прошлом, они нигде, как и я.

День неплох; по телевизору Жан Маре волокет на руках какую-то бабу. Везет этим Жанам Маре. (Для лучшего усвоения фабулы показали тут же схему желудка, за ним кишечник, по которому спирально сползает что-то красное и унитаз с бактериями – вероятно, весь путь сюжета – затем что-то в пузырьке, что «обладает невероятной силой увлажнения кожи».) У нас одного аспиранта в общежитии прозвали Жаном Маре. Не за сходство какое-нибудь, сходства никакого, а так. Сильно запивал. Раз допился, бедняга, до того, что свезли в Кащенко. Как-то поутру увидели, что он воровски пробирается по общежитскому коридору и слушает у дверей. Выяснилось, что он отыскивал комнату, где пишут его мысли. В течение дня потом он сидел на кровати, глядя в одну точку перед собой и перебирая на столе алюминиевые вилки, которые ребята натаскали из столовой, а к ночи он стал буквой Е и его увезла специализированная скорая. Вернулся дня через три нормальный, порассказал о пациентах, весь этаж собрался слушать. Около месяца не пил потом. Две главы сразу написал, а перед этим за полгода ни одной. Что значит сила впечатлений… испуг, да... испугаешься. Все вокруг чужое, а ты младенец без мамы. Внутри тебя ты голенький, а вокруг мир заново как он есть: волки. И еще врасплох. Так-то едва живешь, а тут сила нужна особенная. Какой уж тут Жан Маре, куда им обоим, хоть одному, хоть другому.

Вечером убил таракана, так что день прошел не зря…

Как удержать контроль над темой, если она сложна? Это нужно обсудить… но с кем? – С собой, потому что никого другого нет. Нет никого, кто понял бы тему в ее цельности. Такой я один. Что же? Это еще одна задача, где нужно выйти к ответу. Отличие в том, что она… не алгебраична, в ней иной инструментарий… вернее, его нет и его нужно создать. Из чего? Из вот… да, воздуха, пронизанного… чем он там пронизан. Стало быть, я не просто один, но и брошен без средств спасения. Это ново по ощущению... Брошен – но *Оставлен* ли? Возможно, нет.

Мне снится много большой воды – но тягостно и мрачно кругом, и вода не то чтоб гнилая, а сырая, тяжелая, чуть лимонного тона с легким по ней как будто туманцем. И кругом – неописуемо безобразная местность с вихляющими вверх и вниз и в стороны тропами, всюду неимоверная грязь, переложенная где доской, где немногими камнями. Скособоченные жилища исполнены невесть из чего и настолько скверны, что не видишь жилья, а видишь что-то уродливое и убогое за перекошенной калиткой из какой-то дряни вроде куска асбоцементной плиты или мятой жестянки, напоминающей дверцу автомобиля; а вместо ограды – плотно сжатые высокие снопы коричневой сырой травы, образующей нужную непроходимость забора. По большой воде за этими лачугами, разлитой кривыми озерами, безгласно, как привидения, проходят низкие, какие-то мутные суда. По дороге попадаются заброшенные цеха с остатками оборудования и следами былых производств. Почти везде ни души или молчащие небольшие группы. Прохожу и сам везде молчком, мне боязно. Если где и попадаются люди, то не озабоченного, а как бы забитого навеки – но и недоброго, замкнутого вида, я чужой им всем.

Я ищу главную улицу, единственно мне знакомую, потому что никак не могу выбраться из этой огромной окаянной деревни, а эта улица – единственный ориентир. И наконец решаюсь спросить в каком-то сарае у группы голых людей (в том числе голая баба, вялая небольшая грудь, мужики же – худые, обтянутые кожей и словно прибиты, запуганы) – они купаются в кривой сырой реке (сарай на ней на сваях) и сейчас отдыхают, сидя на полатях из черных осклизлых досок. Стекло воды лимонно отсвечивает из-под дощатой стены, не доходящей донизу. Неожиданно услужливо, суетливо один отвечает – а вот, прямо тут за дверью – и соскакивает помогая, дергает эту дверь. Дверь заело и она не открывается. Дергают уже двое, сильнее, и она открывается, отломившись внизу треугольником угла (картон?) – и я выхожу на какую-то смутно знакомую площадь, тоже неимоверно унылую, но расположенную выше и суше. У меня надежда, что появится где-то тут поблизости (должна уже) эта треклятая улица, по которой я наконец уйду из этой деревни.

Наяву я знаю, что не появится. Значит, во сне я верю? Верит моя душа, тайно от меня? Что это значит? Что ее вера сильнее знания? Выходит, она *не Оставлена?*

Что я такое, чтоб меня… эти самые взяли вместе с вами? Мое существование непривлекательно и глупо. Внешне моя жизнь состоит в исполнении разных пустяков, у некоторых это зовут работой. Они думают, что работать – значит, на работу ходить. Это не теперь повелось; не все ли равно. Езжу по такому случаю в столицу раза два в неделю. Работа не любима мной, не обязательна и не приносит денег. Мое «я» не принимает в этом участия, но в этой повседневности будут, разумеется, совершены новые просчеты и глупости, которые я и буду потом переживать как глупость и просчеты: вот это и есть моя внутренняя жизнь.

 Находясь в каком-нибудь из своих обычных мест, я не умею радоваться ему и нынешнему дню, а вспоминаю что-нибудь из предыстории, как и откуда это место взялось и сделалось моим и какого черта я тут делаю – я хочу сказать, как возрастало это место во мне, чт*о* сопровождало его принадлежность мне; какие-то при этом жалкие подробности – обычно одни и те же. Главное же – как сделалось так, что к нынешнему моменту явилось это место, в сущности не мое и я в нем, отчего так? На этот вопрос никогда нет ответа. В этом жизненном странствии нет цели и нет пути. Его ошибки не исправляются, потому что направление неизвестно. Одна только жалкая боль уходящего, чтоб ее взяли все те же, кто там у них, – вот только слабенькая эта боль неизменна. Я поясню. Предположим, уезжает кто-то из душевно близких людей: это не про меня, чтобы вас всех, а я к примеру. Они (какие-то люди) гостили совсем недолго, но все-таки. И вот теперь где-то там их ждут… не знаю кто – занятия, люди, у них ограничено время. Мое время бесконечно. Все по теории Лоренца-Пуанкаре (при чем тут Эйнштейн? да черт с ним): времени как такового нет. Через час или два после такого ухода (если отсчитывать *время*, которого нет), после ухода, говорю я, отъезда ли, можно приняться за что-нибудь маловажное, думая всякий вздор. Ну так вот, кто-то давно и навсегда отъехал… а я остался. В этом состоянии… ну, что говорить, можно забыться, жить чужим – романом, фильмом, «заодно с другими на земле», как выразился поэт. Помогает на время, да. Но их опять всего ничего – романов и прочего, тех, что помогают. А прочий мусор читать и смотреть, это не всем дано. Это как на работу ходить. Это талант нужен, не думать ни о чем. Пришел на комедию: га-га-га! Потому что комедия. Это большой талант. Мы – талантливый народ.

Или так: представляешь себе каких-то друзей, пусть друзей: и вот вдруг встречается кто-то тебе в метро, навстречу! Такой же, как остался в памяти лет пятнадцать, скажем, назад, - двадцать лет, девяносто, не все ли равно, если их нет никого, и времени никакого нет? Все вздор. Естественно, никто не встретится, встретятся только те же, что и всегда: наше светлое будущее. С чем сравнить? Я пробираюсь по траве жизни, как насекомое, у которого нет врагов потому, что оно несъедобно. Это, наверное, славно, быть несъедобным? Радую ли я тем Создателя? Праздный вопрос.

А вот кто-то сдуру взял и клюнул! По неопытности, воробей-демократ или галка сослепу? Как нам тогда обоим? Ему тьфу, гадость, а мне того гаже. Жалко вам кого-то из нас? Только смешно. Смех – это светлая радость в связи с бедой другого. Га-га-га, его склевали. У зверя такой радости нет, он лишен юмора. Бедный зверь, он лишен.

Нет, вот лучше муравей: положим, он лежит и лапки скрестил. Вот он лежит день, а ночью? Ну, забрался кое-как внутрь самозванцем, прикорнул. Потом опять на свет, и лежать? Ну, сходил на промысел, оторвал от какой гусеницы клок.

Так вот и я: надо же что-то делать.

Нет, вот лучше так: положим, я член ВЛКСМ или еще чего. Пусть ВЛКСМ. И строим мы пусть Днепрогэс. Да. Это лучше? Лучше? Вы уверены?

Построили. Был Божий мир, но в избах тьма, тараканы; теперь прогресс, в избе лампочка. Ведь лучше? Могу я быть за тараканов и против лампочки? Ну, скажите, могу я быть за тараканов и против лампочки? Нет, вы скажите: могу я быть за тараканов и против лампочки? Однако ж, был чуден Днепр при тихой погоде, но только не теперь. Теперь он гадок при любой погоде. Так? Сделали, выходит, гадость. Я про светлое будущее и муравья того. Лампочки одной мало, ясное дело. Сделали Чернобыльскую станцию. Была речка Припять, земной рай. Там, какие-то поглощающие стержни ввели туда-сюда, оказалось не туда, наплевать. Сделался из Божьего рая ад. Так или нет? Ну, так или нет? Наш паровоз, лети в навоз. В навозе остановка – вероятно, уже принудительная.

В природе муравей не производит природе чуждого. А тут?

Это я так, ни к чему особенному.

Что тут вывести? Ничего не вывести. Не пойду в ВЛКСМ, провались оно. Куда пойду? Пойду в метро, назло трамваю. Без вас мне скушно, я зеваю, Пойду в метро назло трамваю. При вас мне грустно, я терплю. И мочи нет, сказать желаю, Что я прогресса не люблю.

Большая мне радость знать от науки вашей, что солнце через пять миллиардов лет лопнет и сделается во все небо красное, потому что лопнувшее прямо к земле придет, и пыль от наших косточек, даже и она превратится в газ. Чем это лучше трех китов? Были три кита, теперь Пуанкаре, который почему-то Эйнштейн, да черта ли в них обоих – что еще хуже-то, если посмотреть?

Вот один мальчик пяти лет, я его знаю, говорит: папа, часы «тик-тик-тик». Он сделал открытие и объяснил его. Объяснил часы, не зная кругового маятника Гюйгенса и его собственной частоты, не зная никакой пружины спиральной. И объяснил с той же полнотой, что и профессор какой-нибудь – скажите, что нет, чтоб вас всех! Ничего не зная, объяснил часы. Объяснил, понятно, одну лишь звуковую фиксацию колебаний, а не их причину – но вы-то будто бы знаете причину? Будто уж? Оттого, что умеете пружину сосчитать? Да это ли причина? Кто такие Гюйгенс, Гук или сам Ньютон, чтобы что-то происходило по *их* законам? Они, положим, великие, выше нас с вами… а над ними-то нет ли еще кого повыше? По *чьим* законам-то все происходит? Кто такой Ньютон, чтоб по его законам пружина гнулась? Всего только ум не как другие. С бабами не связывался, оттого дураком не стал.

И этот же мальчик, я его знаю, дело случилось в провинции южной и он стадо коров увидел – этот мальчик говорит: папа, смотри, у коровки нет мигалки! Опять открытие. Для него уже не коровка первична, а автомобиль. И у коровки оказался любопытный недочет: нет мигалки!!! Как она, интересно, – ведь интересно же, без мигалки??? Совершенная новость, да какая! Как она покажет поворот? А задние как поймут и не врежутся? Да еще без стоп-сигнала???

Да ведь у нее и тормозов… не нужно ведь жидкость тормозную заливать, и охлаждающую не нужно – тосол, отраву смертельную – и производить их! все готовое дано, – и трава, и воздух для дыхания, и легкие, все дано! а от нее, заметьте, – навоз в землю, селитрой не нужно землю травить, химиков можно перевешать до единого, одно это радость какая, можно одно это праздновать, комбинаты закрыть! Муравья-то помните, лапки скрестившего?

Я ничего, я так. Я про светлое-то будущее, чтоб вас всех вместе с нами.

И он же, этот мальчик, по пути еще вопрос задал: папа, это у тебя сердце радуется или в животе?

Вот так вопрос! Прямо-таки первейший в жизни, в самый ее корень, вопрос! Вся мировая философия занимается только им. Тогда, на месте, ответ оказался никуда не годен: якобы сердце радуется тому, что в животе. Такой ответ нельзя и ответом счесть, разве только в шутку, в шутку! Экзаменуемого застали врасплох и отшутился. А теперь, теперь? Сердце радуется или в животе? Если в животе, тогда мир – это просто большая пустота, это «Жан Маре» в больнице Кащенко. Но чему же оно тогда радуется, сердце? Ты посмотри вокруг! Чему??? Ну, хоть вопросу самому. А остальное найдется. Радуйся, а причина придет. Ты сначала радуйся, а причина придет. Где-то тут эта точка, рядом. Вот она, я чувствую. Она здесь. Пусти радость в душу, пусть будет кругом мороз, а внутри печка и тепло… легко сказать, а дрова-то? А дрова вон… у Него. Там они на каждого, хоть кубический километр.

Что-то показывают про двух подруг, и обе дуры; все пятеро.

Опять задавил таракана, день не зря. Божий мир давлю: не нравится, видишь ли. Лампочку, видишь ли, включил. А недоволен светлым, видишь ли, будущим. Устроился, видишь ли, лапки сложил и поливаешь. Какой ты, на …, ВЛКСМ? Да скажи ВЛКСМу, он сейчас вперед, и что надо, сейчас засучит, да лопату в руки, а ты, в рот те дышло, член! Какой ты на … член, да таких, как ты. Да мы таких, как ты.

А земля-то на трех китах. И хвосты у них широкие-преширокие такие, каждый с Австралию или шире. И у коровки мигалки нет. И пыль за стадом этих коров без мигалок, пыль до неба, от живой земли, на трех китах которая!!! А вы, которые «таких, как я», – съездили бы на Припять с теми лопатами, да перекопали гектаров сорок на штычок, все зайцу какому меньше рентген. У него ведь дозиметра нет. Он даже не может в Гаагский трибунал ничего настрочить: он, как Чапай, языков не знает.

На субботничек, всем институтом Курчатова, слабо? Во главе с орденоносцем?

Этак не пойдет. Ну, две скрестил, а четыре куда? Бока почешешь, так-сяк повернешься, а еще чего? Мы таких не пустим в коммунизм, нет, на что они? Там все в рядах, тот сел у пушки, этот у чекушки. Мы таких и в лузеры не пустим, в лузерах у нас и так сто миллионов, а кто не лузеры, все управляют. А управлять такие не годятся, управлять нужно реформу какую-никакую вывалить хоть через день что ли, если уж чаще никак, хоть через два дня на третий, а иначе ты зачем? Чтоб никто опомниться не успевал. Не успел закон прочесть, а уже новый. Тут не бока нужно чесать. А то что ж получится – когда разберут, что понаписано? Это ж получится, все сделано, и власть увольнять?? Нет, брат, тут один гражданский кодекс восемьсот страниц – меленько так, что в микроскоп разбирать! восемь лет читать. А ты в кодексе еще пропиши-ка: нельзя, дескать, в левый глаз бить гражданина ни за что, и в правый! нельзя и в ухо, а нельзя также и такой-то зуб ни за что выбивать, а и такой, а их тридцать два, зуба-то! Не у всех, правда. Да все равно, ты каждый зуб-то опиши какой он, чтоб и в профиль! и цвет! и сколько грамм! И что кулаком нельзя выбивать, и таким-то куском трубы полдюймовой, и дюймовой, и слева, и справа нельзя, и баснями Крылова нельзя выбивать, и бюстом Кагановича! И граблями, и бороной нельзя никакой зуб выбивать! И аквариумом с рыбами! И без рыб! Да перечисли-ка все, чем выбивают! Сколько томов выйдет? Вот как управляют-то. Вот как надо, чтоб и разобрать не успевали, а тут мы! А тут мы ему, разбирателю, по голове! По голове ему! По репе! Чтоб не думал, умник, что все разобрал и понял, да и пошел себе. Куда пошел? Еще только вступление, погоди, еще вот будут какие разъяснения, а потом еще вот какие, а он, видишь, пошел! Так-то и мы, управители, станем незачем, коли ты все поймешь. Так-то ты и пойдешь себе, того гляди, спокойно дело делать, ан погоди, мы не все еще написали, заяц тебе в ухо! Еще вот тебе три закона на четвертый, да еще семь на пятый, да комментарий тебе к кодексу три кило – четыре тома в горшок толщиной, только не со щами, а догадайся с чем! А повертись! А поворотись-ка, сынку, нет ли еще чего с тебя… того? Что-то будто тужурка, этак, с правого боку тебя толстит? А мы тебе реформу, чтоб тебя! А реформу! Вишь ты, понял он, и пошел! Дело делать пошел! Нет, ты погоди, а вот мы тебе опять занозу, а вот мы тебе еще тут другую, вот ты тужурочку уж и должен нам не с одного правого боку, а целиком! А? То-тко, родимый, у нас ведь тридцать стульев в сорок рядов, да на каждом семеро с ложкой, а ты как хотел? Уж не дело ли какое надумать хотел? Эк, что такое свежий человек, чего не надумает сдуру. Законы, они зачем? Честному руки связать. Мошенник открутится не читая, а честный сдуру прочтет, да и плюнет: подите вы с вашими законами. Во-от для чего законы, чтобы честный не лез никуда, а сел, да глазами хлопал в ящик. И чтоб как можно больше юристов, и кровь сосать. А ты думал, зачем законы? Экономика должна быть экономной, а труд трудным.

Нет, не годятся такие управлять. Вверху, милый, нужны другие – те, кто умеют хорошо объяснить хозяину, еще высшему, что все отлично исполнено, и еще лучше объяснить низам, почему ничего нет. Не-ет, брат, этак ты дело так повернешь, что дураку понятно, и нас долой… Нет, брат, тут не бока чесать. Нет, брат, мы таких… Так что и там нигде места нет. Мы их вот что: никуда не пустим. Чеши, парень, бока, только не до крови.

Поеду съезжу опять в столицу на «работу» или, черт ее знает, «службой» назвать, какая разница. Все вздор и не может быть иным: ты все едино паразит на природе и на тех, кто сеет хлеб, сколько б звезд на тебя ни навешали на мундир; будешь тот же «секьюрити» в магазине: дурак дураком. Даже слова русского для тебя, дурака, не нашлось. Я, положим, программист, да чем лучше?? Такой же кровосос на природе и на тех же, кто сеет.

 А живи на этой «службе» на самом деле тем, как уходит и уходит вверх в прошлое твоя речушка, где все чище и чище в ней вода – вот она уже совсем ручеек – перебирая взглядом камушки на ее дне и зачарованно глядя, как преломилось в ребристой глади радостное солнце, как блеснула в этом солнце какая-нибудь серебряная рыбка надежды, и как нынче гаснет над ней закат. Расскажи этому прошлому – как ты сетуешь ему на свою дурость и утраченное время, которого как будто и не было вовсе. Так растративший попусту деньги, тревожно грызя карандаш, подсчитывает в столбик свои траты, убеждаясь, что за вычетом какой-нибудь забытой мелочи сумма почти сходится и не может понять, как же это? где ж они, деньги, ведь были? и вот их нет; ничего не приобретено; нет никаких следов, если не считать некоторой отечности лица, страждущего тела и постыдных душевных рубцов.

Короче говоря, есть что вспомнить, но нечем. А если по правде, и нечего.

…Ну, нет! Я совсем не таков, вы угадали, угадали, чтоб вас всех они самые взяли со мною вместе! Я совсем иной, да-да, иной! Я у вас еще костью в горле встану, я только с виду дурак, да-да, не верьте ни слову, написанному выше. В том и дело, что… да, моя жизнь взмывает… куда там она взмывает, чтоб ее черти взяли, такую жизнь. Там, в надоблачной синеве, она не вашим чета, чтоб вас всех… чтоб их… чтоб ее… чтоб вас всех побрали бы все черти на земле!

Во сне видел вздор: пытался глядеть в зеркало и в зеркале следил витающего у правого уха комара (у отраженного меня он, естественно, крутился у левого). Изловчившись, правой рукой прихлопнул реального комара о собственную скулу, но вот что: зеркальный комар не погиб! – он неслышимо продолжал исполнять свои алчущие перемещения, исчез лишь его зудящий звук. Таким образом, отраженный Я оказывался беззащитен перед укусом – и это беспокойное соображение отвлекало и каким-то образом мешало мне разглядеть собственное лицо: какой я? Старик? Или… ну, обычный? Какая-то путаная мысль из пространственной топологии вертелась у мозга наподобие этого комара. Наяву чесался укус справа, только и всего. Реальность обидно упрощала проблему – в очередной раз она оказывалась слишком глупа для математики. Опять, как и всякий раз прежде, математике в ней оказывалось нечего делать. Укусили – чеши – лишь бы не до крови – вот и вся логическая цепочка. Всякое творчество угасало здесь на корню.

Задавил опять таракана, другой убежал. Это прямо с утра, а может, еще вечером повезет. Жизнь наполнена.

Таракану задумываться не пристало, не тараканье это дело. Задумался, и эк! готово дело; а быстрый убежал и оставит потомство. Естественный отбор. Вот она где, правда жизни. Тараканья жизнь, она какая? Ведь с его точки глядя, хозяин – чистый подлец. Ведь одно на уме – убить несчастного таракана, а за что? Ни за что. Не разбирая, хороший ли, нет ли таракан, одинаково любого. А он, может, романтик какой, вроде Максима Горького? Гордо реет между молний? Зазевался, и нет романтика. Справедливо это? Вот брахман, говорят, тот рот платком завязывает, чтобы случайную муху не проглотить, не нарушить правильную норму жизни. Но это, может, потому, что у них тараканов нет. Цыган-то, касту париев, они все едино за людей не считают, муху ставят выше.

Брахманы ладно. Но тут другая, наша сторона имеется. Какая? А вот какая: кому на Руси жить хорошо? Николай Алексеевич не доискался. Какому там Грише Добросклонову, вовсе нет. От Добросклоновых горе одно, и самому ему, и другим. Что Добросклонов? Погиб Добросклонов, он же Добролюбов, ни за что, ни про что. Милый друг, я умираю, оттого, что был я честен. Что хорошего? Торопятся других «освобождать», а ну, как освобожденные окажутся-то самая дрянь и мало что друг дружку съедят, да еще тебя же, освободителя… на первой осине? О том не думаем. А что придут в итоге куда гаже прежних, это-то мы теперь знаем: вот он, весь перед нами, их *настоящий день*, светлое-то будущее.

Нет и нет. Никакому не Грише, а на Руси хорошо жить бомжу, который лапки сложил. А вы не знали? «Секьюрити» тому самому, он теперь так называется, ему все равно, как зваться. При продуктах, одежа казенная и бабы кругом медициной проверенные, и делать – ну, ничегошеньки! Такой ли дурак-то бывает? А бомжу и того лучше.

Первое – что гадости вроде Днепрогэса не построит, это раз. Совесть чиста, и стало быть, угрызений нет.

Второе – не раскулачат и менты не заберут: на кой он? Взять с него нечего. Только грязь возить туда-сюда.

И третье: он, может, время свое сохранил, чтоб на жизнь поглядеть и понять в ней какой-никакой миллиметр пути – если, конечно, есть *чем*. И законов читать не нужно в сорока томах, и так ясно все перед тобой: вон он, Божий мир, весь как есть. И бегать ему, как таракану, ни от кого не нужно. А когда следует, Господь приберет.

Так, может, он и есть тот самый протестный титан, Робеспьер? Нет… не характером он взял, а всего только пониманием, чутьем ли, что все едино*,* что делай не делай, все равно *отнимут*. Что ни делай, отнимут *всё*. У них там ртов несметно, битком сидят и ложку мимо рта никто не проносит.

А ты разбогател, с понтами. От радости в зобу дыханье сперло. А завтра придет Ноздрев (пардон, Хрущев), и все отменит. Нет, не придет? Точно знаешь? Если сто миллионов лузеров в стране? Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Точно знаешь, что никто не понял ничего? А может, бомж-то, лузер-то, которому на Руси-то хорошо – может он-то и понял? Понял, что в лузерах лучше остаться, потому – все одно иного не дадут. Может, он-то и понял это главное, корень-то всего? Уверен, что нет?

Эк разговорился! Устроился… Сам, понимаешь, формулы знаешь, а от нас рыло воротишь, не такие мы тебе ГЭСы построили. Сам Ньютон, может, того не знал, а тебе, подлюке, все дали, а ты, значит, секьюрити. А не простой ты муравей, раньше бы вычислить тебя.

Поздний экспресс в нашем Н\*\*\* развозит людей по городу, по остановкам. Удобно. Слезши на своей, я ковылял между луж под фонарями и бубнил что-то вроде напева:

 *Патологоанатом*

 *Возлюбит мирный атом,*

 *Удвоим ВВП!*

 *Чем больше похороним,*

 *Тем больше перегоним*

 *Налога в ВВП!*

Нельзя сказать, чтобы я это пел. Все-таки к вокалу это не имело надлежащего отношения. Я полагаю, это следует считать речитативом. В одну лужу так-таки сослепу вступил и дошлепывал в мокром ботинке. Уже ругаясь, поднялся по темной лестнице на свой второй (он же и последний) этаж, где прилажен к стене выключатель лестничного света, держащийся на собственных проводах. Назло себе не стал его включать! и дверь отомкнул на ощупь. В итоге, домой я пришел в первом часу. Один только рыжий кот в тревожной радости (хвост трубой) встречал своего хозяина. Его расчеты на ужин не были надлежаще обоснованы. Я сообщил ему это с надлежащей ясностью. Остаточек вареного минтая отдал ему, последний из холодильника. Он оказал мне честь, изволив спать со мной на одном диване, на простыне, но не совсем головой на моей подушке, как обычно предпочитал, а лишь касаясь ее спиной. Обидой, благородством чистоплотного зверя – мало ли чем веяло от этой спины. Я тоже отвернулся от него; устал и хотелось спать.

…В снах действовал Почечуй (Кориандров? не то Укропов?) и какие-то еще. Их действия выходили никуда не годная чепуха, и пошел дождь. А поскольку еще прежде привелось утратить ботинки – в театре(!), где обувь на выходе свалена вперемежку и моей не оказалось, а шел в носках под дождем, то и – поворочавшись – пришлось проснуться. Тут тоже шел дождь, но как положено, за окном, ботинки не терялись, кот спал головой на подушке и недовольно пошевелился; возвращенный порядок принес облегчение. Но опять неладно: обманом недоплатили тысячу рублей и мое униженно-ложное называние обманщика «благородным человеком» в целях уже своего обмана – улещания и возвращения своей тысячи – сбито кем-то вдруг явившимся, и теперь уходить ни с чем. Наяву опять легче: недоплаты никакой вовсе нет, поскольку нет и никакой оплаты. В снах – утраты и потери, наяву – стабильность и (всего-то) утрата жизни. Да… вот так, Рыжий (нет у тебя никакой совести, сдвинься хоть чуть с подушки). Ехали вроде «на ярмарку» – но ярмарки так и не видели. Объехали кругом, и вот уже ехать с нее, с ярмарки. Да была ли она? – вопрос. Был как будто какой-то шум в стороне, но была ли то ярмарка, неизвестно. Сначала силой тянули куда-то, где не оказалось ничего. А теперь брошены пропадать.

В переходах от яви ко сну смена красок: то видится нечто из хорошего – из него единственно, что было таким – детство; то, укрывающим одеялом, *система*, совершенная по стройности, что никак не даст околеть и уж точно не даст *жить* прикованным к неслышимой тачке; то из бредовых видений – некто в синем со звездами, нерасцепимо обнявшись с синим под одеждой, тоже законником, стоят поленьями в преисподней и из лопнувших щек у обоих сочится жир. Напоминает переливы красок в теле кальмара; но скрывшись за облаком чернил, в ознобе простуды уходит подлинность мира и наступает забытье.

…А наутро этот странный звонок. Звонил какой-то Олег. Что за Олег? Я его определенно не знаю. Он хотел о чем-то предупредить? Я не должен чего-то подписывать. И вдобавок эти слова: «используя ваше нездоровье»… Что это значит? Это какая-то ошибка.

 2.РУМЫНСКИЙ ШПИОН

 (февраль)

Все началось с того, что я забыл, что такое ЭТО, самое главное. Самое главное, к чему пришел, и вот вдруг забыл, как отлетело. Совсем ничего, только знаю, ясно помню, что оно было и что оно главное, главнее нет ничего, и вот на этом месте пустота. Что оно, откуда оно идет – как-то сверху? Что оно: Божья правда, чувство боли, бережность к другой жизни, к миру? Что это за *это* такое, без чего нельзя? Вот уж незадача всем незадачам, всем утратам утрата. И ведь – хоть убей, хоть убей. Помнил так, что забыть невозможно, и вот тебе невозможно: забыл. Забыл!!! Что оно такое, ГЛАВНОЕ, я ведь его так и назвал, когда открыл: ЭТО, и вот тебе; вот тебе за все. Мало тебе всего прежнего, так вот еще что, вот тебе еще такое, чего хуже ничего нет. Теперь живи как знаешь, хочешь – как эти торжествующие, у которых в голове собачий кал, только живи без их торжества, а с мучением; а не хочешь, живи как хочешь.

Ночь провертелся, не вспомнил. Жить теперь одним: вспомнить. Одна надежда, что *придет* опять, и вспомню. Сейчас не силиться, сделать перерыв, не думать, пускай. Пускай так пока, как-нибудь. Силой не вернешь, а прикинуться, – что неважно, что ничего, что мы как-нибудь *так*, и оно подойдет опять само. Будем жить пока, как все, потаскаемся туда-сюда, как все эти живут, не проснувшиеся всю жизнь. Погляди на них: вот как они поживем. Им и без *Этого* все ладно, поэтому так и живут. Они потому и не выйдут никогда из лабиринта, всей планетой несчастной так и будут решать, почем завтра баррель и кого бомбить. *Страдание за них*, что ли? Не *это* ли? Нет, нет, не вспоминать, спугнешь. Договорились: не думаем, не думаем, не думаем. Поживем, как эти люди, у которых нет ничего, кроме телевизора и правительства, и они его могут ругать матерно сколько влезет, потому что с экрана оно кажется доступным, и это почти как жизнь. Поживем, как они. Ничего. Не показывать вида.

Между прочим, мой рыжий кот взял манеру: стоя на задних лапах, кладет передние на постель и так глядит подолгу, с минуту, когда я лежу и думаю. Он прикидывается простачком. Но если начать в это же время смотреть на него, он зажмуривается! У него делается при этом такая умильная рожа, что сразу ясно, что он притворщик. Он видит, что я его раскусил. Тогда он слезает на пол и усиленно чешет задней ногой бакенбарды. Все это не так просто.

Я приходящий, амбулаторный, поэтому со мной так: пришел, укололи, иди домой. Но они так просто не отпускают, за мной идут – это проводы, так положено, контрольное сопровождение, желательно до дому. Это не Москва, здесь соблюдают. Подмосковный городок, репы круглые в рядок. Он виден и не скрывается. Кажется, это Олег, его серая беретка, – он неплохой типаж, то есть именно как тип. Я помахал ему рукой. Я вот такой приветливый симпатяга. Пусть думает что угодно.

Сейчас вдруг вспомнил тот звонок… Олег… Сколько времени я об этом не думал? Один, два… четыре месяца? Ну и что? Мало ли, совпадение. Не думать, тут… не надо!!! Тут что-то… не надо!!! Не думаем. Забыли. Олег, ну и что?.. Вообще-то он ко мне относится хорошо. Что я ему? А он добросовестен. Странно. Все хорошее странно. Это в той России, умершей с Чеховым, хорошее было кругом. Но это не нравилось кайзеру… *кузену Вилли.* Мы вообще не нравимся кузенам Вилли, еще бы: такая махина нависает. Они там асфальт перед домом стиральным порошком, а тут тебе десять тысяч верст и братья Карамазовы. Очумеешь. На их месте я бы из норы не вылезал от ужаса. Вот и забросили к нам *друзей народа.* А тех учить не пришлось. И от народа остались ошметки.

Я смотрелся в витрины, остановился и смотрел – там темно, неясно, кто я, старик? или нет? В витрине банка глянцевый плакат: два жизнерадостных седых дегенерата, он и она, слащаво улыбаются: агитируют за какое-то очередное мошенничество, назначенное для пожилых. На миг показалось, что у *него* удлиняются уши, укрупняется и свисает тяжелая челюсть карлика, у *нее* – израстает козлиная бородка волосиков зеленоватой седины. Ощущение дурного сна, но, быть может, удивляться не следует: так ли редко в зеркале на будущем мундире проступают ордена, когда другим видится только дрянный пиджачок? Выступает и на лицах их подлинное, разве не может такое быть? Видят его не все… а иначе что б было? Видит, стало быть, одна *болезнь*, что уж там. Здоровье, да… оно хорошо, с ним лучше. Но помимо сознания живет еще рядом мир: вот он – и куда его деть? Уйти бы рад, а дверь? Тут она рядом и дверь, и горькая горечь от нее – и не та она! Не та эта дверь!

*Они* легко переключились на гадючью ложь рекламы – потому что с самого первого дня их, с «Земли крестьянам», каждое слово их была такая же ложь. По даже Марксу, «цель, для которой требуются неправые средства, не есть правая цель» – стало быть, есть цель неправая. Но из этого отрицательного определения прямо следует, что «правая цель» только и может быть Божьей правдой и ничем иным. Все другие цели и отвечающие им суждения о силах «прогресса», требующих насилия «в мире зла», ведут только к новому злу. Что из того, что есть доля правды в победе чего-либо *нового* над прежним? – и в собаке, бегущей по улице, есть частица правды мировой, но считаться будут лишь с ее зубами. Стало быть, «правое дело» заключает в себе лишь волю вытеснения прежней силы новой и прежнего зла новым худшим. Ведь всякое «правое дело» явится тут же неправым, как только мера несправедливости к «силам зла» перевесит этих сил собственную прежнюю – что только так и бывает. Где тут прогресс? – очевидно, в том, что новое зло будет злее прежнего – что же это, как не путь к антихристу? И где мы видим иной прогресс? – в растущем надругательстве над миром Божьим, в гибели птиц и зверя? Гибнет бессловесное – это-то прогресс? Стало быть, зло только нарастает в мире – а не то ли самое прописано Откровением Иоанновым? Ну, и где же тогда ваше «научное опровержение» Евангелия? Не *практикой* ли поверяется наука? А практика вся перед глазами.

Олег ни при чем, он исполнитель, но у них *там*, между прочим, уже началось: а не болел ли дяденька (или кто еще)? – Не болел. – Были ли в роду такие-сякие? – Не было. Ни одного дегенерата, мошенника, вора, убийцы, члена райкома, никого. Никаких управляющих кухарок. – Успокойтесь. – Ни одного из ваших. – Ну, конечно. Очень хорошо.

Я пробую перо, сидя в каком-то кафе, бывшей столовой, теперь с другими шторами и другими ценами. Приходящий. Приходящий. Это, якобы, настоящий, а на деле китайский «паркер». Подарили москвичи. Неплохой. Приходящий. Примус. Признание Америки. Я не пишу, а так: вследствие… все равно, вследствие чего – все можно опровергнуть, в том числе и последнее утверждение. Но мне нравится уточнять. Всякое уточнение требует истинного мастера. Сначала как будто пустяки, а потом... а потом чтоб вас всех черт побрал, вот что потом.

Я не голоден и совсем не хочу есть – совсем. Да и что тут есть? И на что? Лет (десять? пять?) тому назад у меня (я помню?) был нормальный аппетит. Здесь была тогда нормальная столовая. Теперь ее нет. Взял какую-то кашу, как будто пшенную. Она хорошая – потому что на каше уже лежит распятая мошка, похожая на микросамолет. Значит, не отравлена, если мошка. Не в этом дело. Они не понимают, что я придуриваюсь. У меня совсем другая жизнь, которую им не понять никогда. Я неслыханен. Когда я прохожу, слышен гул почвы и под ним шум: в этом месте подо мной волнуется магма. Поэтому долго стоять нельзя, лучше идти. Таких, как я, нет. Были двое или трое… в прошлом. Из кафе я двинулся прочь: именно так, движение *прочь* составляет настоящую суть движения животного (я не употребляю здесь слово «зверь», как слишком ответственное – именно так, только животное, но еще не зверь; до зверя нам далеко). Из продуктового я тоже двинулся прочь. Купил там куриной шкуры для Рыжего. Снег слежался, уже слоеный. На тротуаре два воробья трепали напудренный пончик.

Новые вывески: «Биф аля рус». Другая: «Фаст-фуд. Мясной ряд». Еще другая: «Karaoke room». Наверное, для китайцев, знающих по-английски и заодно русский шрифт. Это от Москвы идет, вся эта лакейская дешевка. Рыба тухнет с головы, а Россия с Москвы. С какой радости, к примеру, в Москве – «Сити»?? А ни с какой… просто наплевать. Оно и всегда было, это проститутство, почти невинное: «Иностранец Федоров из Лондона и Парижа». Женский тип нации, ничего не поделать, склонен к древнейшей профессии. Давно загнали свое достоинство в спящий режим и с тех пор во что только не рядили, чем только не короновали это русское равнодушие: и «терпением», и «добротой»! Еще бы не доброта, если плевать. А вот замечательно: «Зоомагазин Бетховен». Я даже вздрогнул, стало что-то не по себе. Был просто зоомагазин… а теперь вот так. Сетевой брэнд, милый юмор, а все-таки… Я поздравляю венскую классическую школу и лично Вас, герр Людвиг ван. От нашего стола вашему столу. Полагаю, такая образность Вам не снилась. Что характерно: идут люди, и хоть бы что. Этот народ неуязвим. Ему: Хрущев, ему Припять, ему зоомагазин Бетховен, а ему ништо. Людям плевать на самих себя. Главный принцип русской цивилизации. Такую победить нельзя, поэтому решили растлить ее «улучшениями». Не тут-то было. Мы выйдем нескончаемыми миллионами из дверей зоомагазина Бетховен, и вы увидите, что с вами будет.

Но вывески начались не сегодня, я еще в ту бытность видел в Ленинграде на Лиговке: кафе «Румянец». Из этого кафе «Румянец» прямо поутру людишки выходили… будем называть это «выходили» – такие синенькие, как пупочки. Талант по части названий уже пробивался. Оставалось его раскрепостить.

А вот в этом сквере года два стояла скульптурная композиция – рабочий, матрос и солдат, сидящие в суровых, но как бы дружественных позах «товарищей» – которую чуть не с первого дня стали называть «на троих». Название так укоренилось, что композицию пришлось снести. Но и после сноса название сквера так осталось: сквер «на троих» – ясно и коротко определяет место, не спутаешь. Народ не пересилишь.

Мне близки люди забитые, но непокоренные: они *плевать хотели* и выказывают это впрямую – вот именно, плевать они хотели. Пусть в том является их собственная забитость и чувство поражения, и оскорбленность, и бессилие, и злоба – но и какая-то тень победы. Вы хотели от нас лакейской покорности, работы за крючочки, за спасибо, а взять нашу жизнь живую? Мы прикинемся, но не дадимся. Мы – нет, мы не придем к победе, мы сгинем, но вы не получите от нас ни на копейку. Наша гибель безвестна и честна и наши души примет Господь. А вы так и не поймете что случилось. Так в сорок пятом в домах Берлина били из ППШ по ихнему хрусталю – чтобы в брызги и в пыль на твоих глазах улетало то, что давило и давит тебя и не даст тебе жить и подняться.

Памятник вождю в нашем Н\*\*\* мало сказать, хорош: он благородного черно-мраморного полированного блеска. На черных же мраморных угловых уступах, укрупняющих идею броневика, его крепкая устремленная фигура в полированном пальто, с правой рукой, отправленной немного выше горизонта, прежде несла прямое тактическое указание на единственный в центре гастроном, где продавалась водка. Теперь, когда таковая продается в бывшем книжном, бывшем хозяйственном, бывшем трикотажном и всех бывших и очень большом числе новых заведений, вождь вернулся к стратегии и указывает туда, куда, по-видимому, нам всем следует направиться, когда в стране закончится сахарная свекла.

А вот та самая проблема *досуга*, которую углубленно разрешали теоретики коммунизма в несметных диссертациях. Она полностью разрешена:

Культурно-развлекательный центр «Карина»

Впервые в Н\*\*\*!!!

Московская группа: мужской и женский стриптиз

Ул. Ал. Невского, 4

Говорю же: протухает с Москвы. Улицей их не смутишь. «Пипл хавает», по терминологии светлого будущего. Как в самом деле это разделить: народ и пипл? И в каком котле замешана эта смесь? А вот в том самом, на котором написано неровными белилами: НАПЛЕВАТЬ. И помельче: НА ВСЁ. И еще гораздо мельче, совсем меленько, поперек и вдоль со всех сторон: *а что я могу сделать? а что я могу? а что ты сделаешь? а что поделать?* И уже паутинно неразличимо: нас душат чужим, не родным, скручивают к покорности чуждой силой без нашей души и сострадания... а не укусить ли за это в самый зад? вы не считаете нас за людей, а мы вот так.

Но в итоге идет снижение всего на уровень троечников, откуда весь век будет отставание-догоняние в гонке с *прогрессом*. Оно и привычней. Особенно не любим мы своих Платонов и быстрых разумом Невтонов: хлопотно с ними и не дадим мы им подняться из той же грязи, где и все. Платоны и Невтоны родятся на Руси в изобилии, только не нужны; к тому же неприятны, много понимают о себе – а потому заниматься они будут на Руси чем-нибудь реальным – служить сторожами, стеклить балконы и спиваться, а, буде какая возможность, побегут из нее туда, где их не будут душить. Там Уатт и Маркони, здесь несчастливые Ползунов и Попов, там Форд, а здесь ему набьют морду и сарай сожгут, не успеет он собрать никакого автомобиля. А правильно. Чтоб не высовывался. Нечего тут изобретать. Живи, умник, как все: «соборность» есть такая… чтобы все были голые, но одинаково. Ты будешь богатым, а я бедным? А коммунизма не хочешь, с галошами трех размеров? На босу ногу? Да я поеду куплю готовое, в упаковке и с гарантией, да еще на карман маленько за то, что с их фирмой подписал. Тем более деньги не мои. А с тобой с дураком возиться – да ты еще, может, алкаш. И характер у тебя, верно, дрянь, как у всех таких, и что-то мыслишь о себе. Дурак и есть.

А посему виновник «отставания» вечного – не вверху, он в зеркале, и удивляться нечему, ровным счетом нечему. *А что я могу сделать? а что я могу?* Вот именно. Ничего не могу, и не нужно ничего. Я муравей, лапки скрестивший, а вы как знаете. Вот они, лапки мои, вот они обе, а четырьмя другими шевелю, как хочу: так и сяк и вот этак рысисто, наперекосяк. У меня *права человека*. Лежать и плевать на ваш прогресс. Может, мы просто раньше других чувствуем, что вздор этот прогресс? Они пока еще обегут весь круг – а мы уже тут и никуда не уходили. Что у них-то, Господи? Англичанин умывается в раковине – напустит полную и умывается в собственной грязи. А мы всегда в проточной воде! Кто когда на Дону или Оби собирал воду в раковине, умывался из нее? Славься, моя великая родина, несмотря ни на что, хоть за проточную воду, какой умываемся.

Что ты, Рыжий, на меня смотришь, как Гоголь на Чубайса? Опять тебе жрать, а что я сам ел одну кашу, тебе неизвестно. Для тебя ходил, тебе купил! Шкуры курьей твоей любимой, да-а… которую ты не жрешь. А она по восемнадцать рублей. А тебе надо фарша по сорок девять? Да-а, рожа твоя наглая. Наглая! Тебя на улицу выкинуть – вон, какие котофеи по снегу шуруют кругами, чтоб согреться. В сугробе по брюхо! И ты бы с ними, эх! С порошей на спине! Речка замерзла. Да, Рыжий, замерзла, лед! Это не ты там, Рыжий, в полынье нырял? Такая же рожа гнусная. Гну-усная, как у тебя. Нутрия называется. Рожа из воды торчит. Виктор Иваныч, сосед, говорит, их много было, но какой-то деляга подсуетился, всех перебил, еще до олигархов и всего нынешнего расцвета. Да, Рыжий, такая же рожа гнусная торчала из полыньи. Уцелела от прогресса и демократии.

Виктор Иваныч тут все знает, он старожил. Он двадцать пятого года, Берлин брал: дальнобойная артиллерия. Первый Белорусский фронт Жукова.

– В город уже вошли.

Город – это Берлин.

 –Танкисты идут: ребята, выручайте. Фаустники замучили, жгут. Ну, мы как долбанем прямой наводкой по завалу – не то, что завала, … его мать, и дома нет.

Я представляю себе: напряженный подкат снаряда (калибр двести три, десять пудов снаряд, четыре пуда пороха), четверо заряжающих, прямой удар из семиметрового ствола по завалу – и в облаке серой пыли, непроницаемом, как чернила кальмара, уже нет стен и по краям этого облака во все стороны – блеснувший хрусталь, фарфоровые балерины и чья-то нога в алом сапоге. Только этот язык они понимают, сброд, именуемый человечеством, и только для этого нужны *прогресс* и *наука.* Ни для чего более. Да только за это ей и платят. Может, никаких и не нужно бы Платонов-Невтонов, а только вот для этого – для по башке кузену Вилли и его преемникам. От них и пришли они все, Невтоны, для зла там завелись, а мы бы жили себе, да не дадут нам жить. А стало быть, нужна и нам *наука* эта дьяволова, от которой иной пользы нет, потому что – враг она Божьего мира, потому что внутри нее ложь, ложь! А главное, и *у них* это понимали! – тот же Паскаль, бросивший науку ко всем чертям. Бросил, будучи в одном шаге от дифференциального исчисления – это видно из его чертежа касательной. Но ничего не мог переменить ни он, ни сам Христос, мы уставились в свой прогресс, как помешанный в точку. Как здоровья не замечает здоровый, так мы не видим мира, пока он жив. Мы рвем его тело, чтобы слепить из живого уродскую АЭС или что там еще, уродский коллайдер, какую-нибудь еще мерзость, все более мерзкую, а он, этот мир, смиренно ждет: когда же? Он подает сигналы, звенят его звоночки: когда же? Когда долбанет по меднолобой нашей башке, вот когда!

Так или нет, Рыжий? Один ты понимаешь… Да, Рыжий, эти болваны думают, что дважды два четыре… Я не про тех, что на улице, я про великих и прочих. Они думают, что дважды два яблока будет четыре яблока… а это будет четыре *разных* яблока, их не будет четыре яблока! Нету двух одинаковых комаров и двух одинаковых яблок, так? Это все равно, что сказать: четыре кота! Приравнять тебя к каким-то еще котам! Ты представляешь?.. Четыре кота! Ха-ха-ха! Где ты, Рыжий, будешь такой же, как они! Все одинаковы! Четыре Рыжих! С таким же носом, ха-ха-ха! Смейся, Рыжий над этими дураками. Не обижайся на них, они глупы. Ты, Рыжий, единственный, ты последний могикан. За что ты меня кусаешь? За рыбу, которой нет? Ты кусаешь так, от любви? От нашего одиночества? Рыжий, нужно терпеть ужас жизни. Пушкин ведь сказал тебе: *Кто постепенно жизни холод С годами вытерпеть умел.* Да, Рыжий, тебе сказал. Мы должны терпеть. Я плачу, Рыжий, подай мне пример терпения. Подай пример! Ничего, Рыжий, ничего… Мы уже никуда не пробьемся. В этом наша сила. Наша сила в том, что нас нет. Ты молодец, Рыжий, да… ты один понимаешь, что Декарт неправ. Я тебе объяснял, ты помнишь? Мы говорили о Декарте. Да, Рыжий, розовый твой нос. Ты согласился, что мир не познаваем аналитически. Твое согласие важно. Всякому нужна поддержка… Что делать, Рыжий, наша жизнь закатилась в кювет. Мы в кювете жизни. Но… наша мысль с тобой, наша мысль? Ты, Рыжий, мыслитель, разве это мало? Это не шутка. Вот средство последнее место сделать первым! Таких, как мы, уже нет на свете. Был Декарт, ну, еще человека три… Кот Мурр… А теперь ты один такой, да… какие у тебя тонкие бока… ребра… Никого у нас нет, никого кругом… Как ты умен, как ты глубоко прав: это судьба мыслителя, да, Рыжий, что поделать. Ничего не отдано, пока не отдано все. И претерпевший до конца… да, Рыжий, до конца, он спасется. Как ты похудел…

Я засыпаю, мне нужно лечь. Я забросил свое (образование?) – я что-то помню… из крыльев… нет, я окончательно забыл – но это летает, я видел. Я видел сегодня – оно летело, гудящая туша. Это самолет, вот это слово: как глупо. Глупейшее слово – все равно, что о сказать о женщине: самоходка. Естественно, самолет, как же иначе? Как глупы люди. Я засыпаю. Господи. Что может быть глупее людей?

На фоне потемневшего неба в окне почти не виден падающий снег, только в отвернутом высоком фонаре освещается синий сектор с падающим снегом, так что кажется, что снег сыплется в этот сектор прямо из фонаря.

Мне позвонил Кароян, доктор исторических наук (вот как: *наук*, как нелепо): говорит, что ничего не знал. Я что-то мычал в ответ: чего он не знал? Он неплохой человек. Я уже засыпал. Кто там может звонить? Ерунда. Это приснилось, никто не звонил. Мне кажется, вот окно: в окне моя жизнь. Я сплю, и это моя жизнь – прямо в окне – вот лужайка у школы, мне семь лет. Странно Я иду, такой сосредоточенный – такие сходят с ума! Ха-ха-ха! О, господи. Он идет – маленький-маленький, такой маленький! Как это может быть? В таком маленьком уже помещается все, а в большом? А в большом – ничего? Ха-ха-ха! Отчего мне так весело? Надо полагать, это укол. Они упростили жизнь. Она оказалась слишком не про их науку. А уколол – и сводят тебя к уровню академика Павлова, мучителя собак, который их тоже пытался свести к своему уровню. Уровню идиота. А теперь тебя сводят к его… уровню… В окне… я уже другой: я иду с танцев! Южный вечер, ночь! ночь! Звезды, звезды – это август? Видимо, второй час ночи. Боже, Боже, это я, это я иду! Мне уже (сколько же? девятнадцать, да!) – он идет, это я иду! О, господи, это я.

Видится что-то происходящее за столом со скатертью, – это соотносится, возможно, со служебным событием, имеющим значение – событием со мной (диссертация?), я вижу поощрительные усмешки двух-трех осмысленных лиц, а одно, благородно обрюзгшее, наклонено к соседу, его владелец, математик, покровительственно черкает пояснительные буковки на листке. Представление смутно. Они образуют абелеву группу, люди за столом? Где чествуемый я – единица? Ха-ха-ха! Все вздор. Я ноль.

Сегодня из кухни выйдя, в комнате застал Рыжего спящим на столе на «Теории групп» Куроша – большого формата, в черном тканевом переплете – подлецу, верно, нравилась его шершавая теплота. Негодяй теснейше соприкасался с алгеброй! – но, если не шутя: решит ли он хотя бы самое простое линейное уравнение? Я полагаю, нет. Наплевать ему на уравнения. По-своему он уже познал теорию групп: она шершавая, на ней тепло, по ней можно подрать когтями. Не так ли, Рыжий? (Не вздумай драть.)

Зверь не поганит мир, а только познает. Его благо в том, что он не лезет в алгебру. Разве от этого он живет менее полно? Полагаю, его жизнь не беднее моей. Во всяком случае, если в ней и не достает чего-нибудь, то не алгебры. А мы?.. Не так ли в точности тесно мы соприкасаемся с миром – и разве не столько же мало можем знать о нем, сколько кот о теории групп? Но мы уверены в ином! Мы лезем в алгебру мира. Надергав из природы мертвых истин – «истин», умервщленных познанием! – мы, Резерфорды-Оппенгеймеры и разная мелкая сволочь, возводим на них наш мертвый мир машин и бомб, самолетов, смартфонов, враждебный Божьему, – мир, который уже своим появлением заведомо обязан дьяволовой лжи, мудрено ли, что он не может не поганить жизнь? Выдираемые из живой ткани мира, наши открытые «законы» и годны лишь для его омертвления. Разве не оттого наш прогресс столь успешен в служении именно злу, что весь он вышел из искуса «познания», из яблока Евы? Отравленные его соком, мы подгоняем природу под свое уродское курино-квантовое понимание, а ее истина сокрыта от нас, быть может, покрепче, чем от кошки алгебра. Мы не знаем и не будем знать ее – меняющуюся всякую секунду, бесконечную и живую – а между тем вся она целиком перед нами! Нам все дано, порча в нас самих. Истина благодатно сокрыта от нас и нужна нам не больше, чем коту таблицы Кэли; но в слепой гордыне мы упорно напяливаем на живой мир свои убогие модели, калеча его раз от раза все глубже и основательней, извлекая все больше научной «пользы» – отравленного воздуха городов, загубленных земель, загаженной воды рек и озер и целых уже морей – в идиотской гонке технологий: кто скорей отравит всё. Лукавый хохочет уже во всю свою красную пасть: он одолевает. Ему кажется, он одолевает. Но ведь не нас с тобой, Рыжий??

…Интересно, что думают обо мне другие люди? Возможно, те, кто кое-что знают обо мне, думают – как некогда казанцы о Лобачевском – что я занят вздором; и они, конечно, правы. А скорее всего, они вообще ничего не думают – кому есть нынче дело до меня, вообще до кого-то другого? Кому нужны твои мысли, если в них нет участия *к ним*, обиженным больше тебя? (может быть, тут ЭТО? Не думать, не думать.) Так что смотри, любезный, себе под ноги, это самое лучшее. Ты хочешь открыть им глаза? Что за претензия! Сколько было таких, куда почище – во главе с Ним Самим – и что, у многих открылись они, эти глаза? Новые деятели поведут их опять туда же, куда всегда – в светлое будущее: в небывало, конечно, *новую* наисвежайшую яму с говном. Мы все одинаково в поезде, который шпарит не в ту сторону, и кое-кто видит это… но можно ли, спрошу я, знать *всю* затею в Его полноте? – Да-да, вот именно это всегда останавливало таких: все идет, как должно, и пусть-де сами увидят и обоняют эту новейшую, все более обширную яму, что иное убедит их? На самом деле их не убедит ничто. Собака лает, караван идет.

Собака лает: впереди пропасть. Собака здешняя, она знает – пропасть не видна, подход к ней зарос дурнолесьем, караван не успеет остановиться и задние столкнут передних, а за ними полетят туда сами. Караван идет. Назойливую собаку сметут с дороги.

Но… откуда ты знаешь? Ты кто, Лобачевский? Ты даже не генерал. Караван глуп. Ну, а ты? Ты и всегда, как эти… Все люди как люди, а тебе больше всех??

Просто у собаки этой, лающей, такая совесть… или страсть к истине – или что там у нее еще? Ведь в сущности ей наплевать на караван. Быть может, она ждет лишь уважения кее *знанию*; в ее лае все больше досады. Ей видится *роль*: всего только роль? Оскорбленная, затравленная, она бросается на обидчика, она уже не предупреждает, она лает от чего-то другого. Караван идет, ему смешно. Пропасть ждет, ей наплевать на обоих, на собаку и караван.

Мне представилась картина – что станется с тем мальчиком, который выкрикнул: «Король-то голый!» – что вообще станется с ними всеми? Мальчика, скорей всего, затопчут тут же где-нибудь в канаве. Но возглас истины прозвучал, и всякий явит свое: зеваки примутся гоготать, тыкая пальцем, придворные (женщины особенно) – прыскать в стыдливый кулачок, люди верные из свиты накинут на бедолагу плащ, чтобы прикрыть наготу Его величества (только вряд ли теперь долго править тому королю), другие ринутся догонять мошенников-портных… только лошади у тех завсегда шибче. Долго ли, коротко ли, все утихнет в королевстве. При дворе и намека не будет на событие, толпа посудачит и забудет, мальчика забудут еще прежде; роль его припишут себе те, кто и рта не смел раскрыть, портные… портные спрячутся далеко, как марксы-энгельсы в могилах. Виновных не будет… разве что король. Искать ли виновных, коли глупость безбрежна, а бессовестность царит над всем – и королями?

Собака пролаяла. Мальчик крикнул. Их убьют. Их забудут.

В туалете лопнула лампочка. Только-только почти на таракана наступил, почти попал ногой! Как раз надевал штаны. И вот фортуна избранным ее любимчикам: он смылся. Почти попал по нему, и в это время лампочка! Может, это уцелел Максим Горький? И он приведет их там к революции, и они друг друга стрескают? Тогда пускай. Лампочки делают специально на срок, чтоб перегорела. А иначе как: она себе горит и горит, как при Сталине, когда все работало и лампочка, говорят, не перегорала – так это что же: завод закрывать?? Надо чтоб отработало гарантию и – брык! Вот она, индустрия-то, вот на что сам Генри Форд первый налетел: оказался *слишком* надежен его автомобиль, линию нужно закрывать! Призадумался тут Генри, а тут тебе и явись спаситель Кейнс: теория занятости. Такой умненький Джончик Кейнс. Лучшее – враг хорошего. А чтоб лучшее купили, нужно чтоб хорошее сломалось. Это один путь. А еще помимо того – чтобы жена мужу голову насквозь проела: у соседской Мери унитаз цвета беж, и на дне глаз! – и чтобы муж поплелся покупать уже позолоченный и чтобы глаз на дне четыре! Чтоб эта Мери обделалась от злобы в свой устаревший унитаз! Всего-то с одним глазом! И пошло дело у них! Если это делом называть…

Ладно лампочка, а пока в комнату шел за новой, зацепил подпорку под шкафом, нечаянно, нечаянно! Лежала под ним ножка от стула, вместо сломанной родной, за нее ногой и задел. И шкаф вроде и упасть не должен был! ну, качнулся бы, так нет, не стоится ему. Но я потом поднял, поднял! Я только с виду, нет… нет… А что из шкафа все по полу уехало, потом соберем… пока все в угол. Вечерок, ничего не скажешь.

По телевизору детектив. Сейчас Мухтар всех поймает и всем дадут по пятнадцать с конфискацией – кроме, жаль, сценариста и режиссера… Впрочем, задача срочно изменилась: «Собери 3000 пивных пробок и выиграй 10000 грилей и 5 дачных домиков!» Рыжий, мы пойдем собирать пробки? Тебе совсем не нужны 10000 грилей?? Ты прав, куда мы их положим? Нам и пробки-то некуда.

Кароян опять звонил, он москвич. Русская жена его выгнала, давно уже, теперь бомжует (глаголы, господи!). Сначала, пока еще работал, снимал комнату, но и оттуда поперли, отовсюду сразу. Теперь в подвале у них два доцента и он. Сплошная латынь, а штаны на проволоке. Я к ним захожу в Москве. На картонках живут: у каждого своя, частная собственность. Хорошо живут, чисто, поверх картонки свой коврик у каждого. У них зайдешь, целый день: конституция, преференция, презумпция, концепция, профанация… Я не понял, что он звонил: что-то он такое спрашивал? Я не разобрал. Что-то в окне вдруг такое… заглянуло: рыло такое гадкое, как академик какой-нибудь ядерщик или генетик. Что это было? Что-то мерзкое.

С генетиками проще: их только кормить их же модифицированной продукцией, а нормальной никакой не давать, ни крошки. А генетическую прямо в глотку забивать, как той теще, которая грибов не хотела есть. А ядерщиков и этих коллайдерщиков швейцарских - на Припять или на Течу поселить, где получше. Оградить забором, вышки, все отработано. Они и переведутся все сами. А в нормальных зонах чтоб жили остальные люди, не замешанные в научном прогрессе.

Заглянуло… а как это? ведь второй этаж.

Наплевать, я их не боюсь, но странно. Александр Александрович это словечко любил. Божественно-прекрасным телом тебя я *странно* обожгу. Фамилия Блок мне кажется не слишком удачной.

А зато вот неплохо: Памелла Гнусьева. Памелла Гнусьева в триллере: «Выстрел в клозете»!!!!! Кто приобретает у нас два гроба, получает третий в подарок. Только до 1 января!!! Звоните прямо сейчас!

Попал ногой по таракану, но вчерашний ли это, не успел узнать в лицо. Похож, а черт их разберет.

И вот я снова здесь. Как высоко на юге, но скоро сядет… Оказывается, я женат. Черт знает что такое. Звезды мучают меня. Их так много: зачем? Зачем? Мы вовсе не на юге. И мама давно умерла.

Господи, это же только что было и вот этого уже нет: но где же оно? Ведь оно не может исчезнуть, где-то обязательно есть оно, может, у тех самых звезд, куда свет от нашего двора тех времен еще только сейчас пришел – и там видят это мое детство так же, как вижу его я! Сорок световых лет, это сколько будет – триста тысяч в секунду, значит, за час он проходит трижды шесть… сто восемь – миллиард восемьдесят миллионов километров он проходит за час. Теперь, в сутках двадцать четыре часа, множим на триста шестьдесят пять, лучше сразу двадцать четыре на сорок лет, это почти тысяча на триста шестьдесят пять…

Мне девять лет.

Это, примерно, триста пятьдесят тысяч часов (вся-то жизнь!) на, примерно, миллиард сто миллионов – скорость в час – это будет, примерно, триста восемьдесят триллионов километров и еще немножко удалилось, пока я считал. И там среди звезд в их толчее совсем недалеко, сорок световых лет, видны сейчас это мое детство и мои живые отец и мать, живые! и я сам… там мы все, победители в той войне. И это уважение к миру тоже теперь там. А теперешнее настанет там через сорок лет. И там увидят, что мы разгромили самих себя.

Почему лопнул этот… мировой проект, теоретический рай? Причина… да, во мне: я обрушил его! Да, это, пожалуй, так. Как это вышло? Дело в том, что я не хотел уготованной мне пожизненной нищеты. О, я получил ее, разумеется! на то истинный закон, что его обойти нельзя. Но… пусть хоть воры, мошенники, те, что нынче поднялись (иных там, кажется, нет?) – пусть хоть *эти* не будут нынче *равными*, то есть голыми как один поголовно. А мы – те, что в яме обязаны быть по Дарвину или еще какому европейскому умнику, – бараны, лохи, уроды, терпилы, дубье, дегенераты – порадуемтесь за них: умеют люди! Хоть у кого-то будет человеческий дом, а не 2х3 в бараке или панельном крольчатнике. Ведь мы – бараны, лохи, дегенераты – все равно имели бы только это.

Нищета на черноземье, поголовная! – такого не ведал мир: но это объяснимо, это не просто объяснимо, это ясно с очевидностью. Трудиться незачем, все отнимут волки (на другом языке – витязи, богатыри, народные слуги, мэры, неважно), труд бессмыслен. Вопреки животной природе, где хищники и жертвы в каком-то балансе, именно русские производят из себя столько кровососов, что не в силах их прокормить. Да, ты можешь трудиться… тебе даже дадут медаль: но только трудиться даром. Нужны одни генералы и бесплатные рабы. И того, и другого у нас в невиданном нигде изобилии. Служение… это пожалуйста, это восславлено в песнях. Ты заработаешь даже на брюки… более того, я сам однажды купил пальто (где оно, дьявол побери?), а совсем беззащитный Акакий Акакиевич сшил себе новую шинель. Он даже вышел в ней на свет – пусть один-единственный раз, но ведь нельзя говорить, что ее не было?

Или причина вовне? Враги замучили? Уж не португальцы ли – и колокола с церквей? За одну только, меньше века, жалкую бытность изошли на нет сколько-то государственных режимов, в поношении каждый предыдущего… а в Англии все та же королева и на том же месте школа, где школьником Шекспир… А вы, друзья, как ни садитесь, все не угомонитесь.

В конечном счете выгодней быть лопухом. Дали тебе что-нибудь – спасибо, не дали – проживешь хоть полунищим, но без забот. Даже скопишь себе за сорок лет на мопед или на что ты там хотел сорок лет назад. Но избави тебя боже выказать достоинство или что-нибудь «такое». Достоинство у нас (может, и везде?) позволительно иметь начальству по отношению к низшему. А если у тебя нет никого «низшего»? то и достоинства, ясно, никакого быть не может. Это заруби себе покрепче, и с этим в путь, благородный дон.

Чему-то я противоречу? Наплевать. Это не я, это моя обида. Я-то логичен, а обида нет.

Вероятно, мне не следует настаивать на этих слабеньких тезисах… поступь *коней* Иоанна слишком различима в суетных шумах. Кажется, мне горько не то, что эта жизнь *временна*, а всего лишь то, что ее никакой не было. Это недостойно мыслителя… если считать меня таковым.

Есть такие люди, которые всюду видят одно плохое. Зачем они нужны, я не знаю. Их никто не любит, их присутствие угнетает. Они везде одиноки. Каково при этом им самим, никому не важно. Но если эволюция их породила, значит, эволюции они зачем-то нужны? В жизни это одни неудачники. Но я точно знаю: все зло в мире от оптимистов. Оптимистов многие миллионы. Самые толковые из них (этих совсем немного) неплохо представляют себе завтрашний день, но никто из них, никто! не видит *после*завтрашнего. Из этих людей происходят все творцы прогресса. Их сила – та, что *вечно хочет блага и вечно сотворяет зло,* она куда гаже мефистофельской, чтоб ее… чтоб кто-нибудь их всех побрал и нас с оптимистами и с вами вместе, чтоб вас и нас всех вместе черти взяли.

Снится, что мы с друзьями собираемся уходить с купанья. Мы на городском канале (город далекой юности, канал отведен от реки крутить турбину, по наклонным берегам – метровые буквы: КУПАТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО). Город и канал далекой юности, но во сне все уже не молоды: чувствуется взрослое охлаждение. Пора уходить, к тому же находят тучи, уже совсем пасмурно и темнеет к дождю (все, впрочем, в плотных плащах с капюшонами). Начинает накрапывать дождь. И вот у самого берега, в иле (наклонный бетонный берег), я замечаю едва выглядывающее сургучное горлышко и вытягиваю плоскую бутылку, по форме вроде плоской коньячной: она вся в иле и очень стара. Это сразу видно и по наклейке, когда я обмываю ее: на ней старинные и трогательные виньетки – и старинным же шрифтом с твердыми знаками и *ятем* выведено красиво и трогательно: К а п и т а н ъ Б а х м т ь е в ъ. Я неприязненно отковыриваю краешек сургуча и оттуда надувается изнутри небольшой молочно-розовый пузырек, он растет и лопается, и вдруг показывается и начинает бить кровь. Я бросаю бутылку и мы все с топотом бежим под гору вниз с насыпи канала – но фонтанчик крови бьет все выше и дальше и достигает нас, и кровь сыплется мне на плечи и на капюшон. Я уже в километре (остальные рассыпались в стороны), но кровь все сильнее и все с большей высоты стучит и стучит по капюшону и по спине, она уже бьет по плащу, как дождь. Наконец я кидаюсь в сторону и прячусь в чужом дворе в винограднике. Я слышу, что кровь «ищет» меня и сыплется на дом, на беседку, обвитую виноградом, щелкает по листьям, по толю сарайчика рядом, но понемногу, не находя, отходит дальше стороной, становится еле слышной и пропадает.

Утром намного легче, если утро солнечное. Божественное солнце! У меня окно на восток, и солнце на восходе видно в окно. К весне оно восходит все севернее и круче, и все раньше и левее видно его из-за такой же двухэтажки красного кирпича, стоящей к нам под прямым углом, – в ней-то живет Виктор Иванович, Первый Белорусский фронт. Но сейчас еще не весна и солнца нужно дожидаться – его отсветы повсюду, но само оно покажется уже над крышей Виктора Иваныча, уходя затем вверх и вправо мне за спину – на юг, на любимый свой юг…

У нашего дома у подъезда была прежде лавочка – потемневшая доска на столбиках…

Вот что: кажется, у меня переместились бумаги, я не нахожу стопы листов… уж не спер ли Рыжий? Он подозрительно щурится. Это вздор, но как теперь быть? Я не смогу продолжать, там доказаны две важных леммы. Теперь голова совершенно опустошена. Неизвестно, выйду ли я из этого состояния. Нужно спокойствие. Подождем. Возможно, я не прав и что-нибудь забыл.

Так о лавочке. Дело в том, что ее пришлось аннулировать. На этой нашей лавочке, днем уютно укрываемой домом от улицы и солнца, почти каждодневно распивали. Подряд все бесхитростные люди, посетившие соседний продуктовый, безошибочно определяли нашу лавочку как самое подходящее место для расположения на ланч. Пить в одиночку ненормально, так что обычно их было больше одного. На лавочке располагалось только важное: посуда с продуктом и «приборы» – стакан общий граненый или раздельные пластиковые – и закуска. Сами джентльмены удовлетворялись стоя. Пустые бутылки, банки и пластиковая мелочь, бросаемые тут же, были полбеды; иные и убирали за собой. Но их душевные и не короткие беседы так отчетливо отдавались в окнах обоих этажей, что после скоротечной схватки с пенсионными невестами уличной стороны дома, которым беседы не были слышны и которые лишались парламентской скамьи для собственных толковищ, скамью расчленили, и части от нее унесли так далеко, как смогли. Таков, увы, разлад между великой свободой русской души и коммунальной для нее стесненностью!..

К чему это я? А ни к чему. Если вспомнить, жизнь наша была весь последний век – как бы ее суррогат, жизнь несытой собаки на цепи. Хотя детство мое было… детство, точно, было! Остального ничего не было. У старших, как Виктор Иванович, была война. Остального не было тоже. Победа лишила их врага. Он существовал – тот, что мучил их оставшиеся полвека жизни, но он был неуязвим. Изредка его черты оплывчато виднелись на экранах и трибунах демонстраций, концентрируясь в складках подбородка или внимательной мордочке хорька, но то были секундные фантомы, в их уходящих спинах не было тревоги. Так мы существовали вместе – фронтовики, их младшие братья, их уже дети, внуки и уже правнуки, – чувствуя на глазах и на всем теле приставшую пленку фальши, привыкая видеть отсветы, блики и преломления правды и компенсировать ими нелепость движений, заведомо не ведущих никуда. Мы мотали срок, но освобождения не последовало – наши конвоиры стали охранителями нашей свободы. Так по-новому нерадостно воплотилось для нас нечто существенно вековое. Подобно нашей лавочке у подъезда, наша собственная *воля* не давала нам жить через посредство таких же тех, чья задача удерживать рамки. Происходило странное – дурная бесконечность перемен лишь отражала постоянство отчаяния – так крутящаяся призма зеркал возвращает движение толпы к истоку.

…В окно видны в ряд уходящие внутрь двора шесть высоченных берез, особенно из них высоки три ближайших. Ветви берез в инее и на трех дальних уже розово сверкают все под солнцем, а на ближних, в косой тени от Белорусского фронта, светлы еще только у самых вершин. Тяжелая ворона садится на тонкую веточку, которая сильно качается под ней, но она, прихлопывая крыльями, умудряется чем-то завтракать. Я бы так не сумел. Мне нужна опора. Какая? Я этого не могу ни у кого спросить. Когда я пишу, я опираюсь на перо, на этот «паркер», но отнимая перо, я теряю опору и беспокоюсь. О чем? Мне кажется, я найду какое-то счастье, да! Ведь я ищу много лет… Луч солнца падает на пузырек с чернилами. А если полететь за лучом? Какая нелепость. Как я глуп.

Зачем Господь назначает человеку думать не о своем частном деле – личном ли, ином – но совсем о другом, думать, в гордыне своей, широко, *слишком* широко? Ведь дела те обширные непостижны уму бедному, одинокому и вгоняют его в печаль безмерную, в отчаяние – зачем, Господи? Верно, по молитве нашей слишком слабой, не доходящей до престола Твоего – иначе освободил бы бедный ум от усилия непомерного, вернул бы ему веселие жизни – вон же оно сияет в небесах Твоих! Как не видеть его? А не вижу, Господи, помутилась во мне радость – отчего, когда? Помилуй нас.

Вот, например, ворона: что она думает о жизни? Она деловая, едва ли она ощущает одиночество. Для деловых одиночество – родная стихия. Кто может знать одиночество? Может быть, парус в океане, когда он видит закат, горящий, как угли в печке. И моя душа – она хотела бы пробиться… я тяну наверх цветочек своей души, я тоже под солнцем жизни и у меня крошечные почти зеленые листки. Что-то ждет вверху? Затопчут и все.

Угнетенность, бессилие, и отвести бы все, как паутину с лица. Именно *мы* есть потерянное, убитое поколение, а те, *у них*, якобы потерянные, только погулять вышли.

На нашей московской «работе» сходят с ума: нависло разорение, не знают что делать. Какой-то деляга приехал из Румынии, предлагает возить обувь, готовы и на это. Объяснял: бракованная *италия* втрое дешевле хорошей, а на вид не отличишь: где-нибудь шов чуть-чуть кривей, мелочь, Не обнаружишь брак, пока не обуешь и не пройдешь километр-другой. У нас пойдет как кондиция. А хорошие ввозить никакого смысла нет. Философия правильного бизнеса. Хорошее так дорого, что здесь не продашь, возить нужно дрянь – вообще *честный* в бизнесе разорится сразу. Правильное слово для честного в этой жизни: дурак, ботаник.

Вообще-то говоря, положение *честного* легчайшее из легких – всего только жить себе поживать, не скорбя о том, что всежизненно останешься гол, не предпринимать ничего для перемены того, напротив, слушаться всего, что велено, не вникая, отчего велено так или этак, исполнять же смотря по усердию. Не ищи хорошего, строй его вокруг себя и радуйся миру Божьему. Рецепт прописан, кажется, давненько и лучшему едва ли бывать. Ведь неисповедимы пути, и не нашим умом, а Божьим судом? Что же мешает? Что такое сидит внутри… такое спесивое, финтифлюшечное? Федор Михалыч так и не проговорился на сей предмет. А знал. Может быть, горе сидит горькое, с коим не справиться душе затравленной, оскорбленность сидит достоинства человеческого, а в молитве ленив и слаб? Уж *этот* ли Ф.М. не страстен был? Червь *европейства* точил его, вот что: только мы теперь узрели того червя в красе его полной, поганой! Вот что нужно было: увидеть его живьем, искрутившегося, в червях червивого кузена Вилли, увидетьмилых его преемников а заодно и творцов науки новой, самоновейшей и славные дела их, Хиросиму и Чернобыль, творческие их успехи. Истинно сказано: малое знание уводит от Бога, большое возвращает опять к Нему – и вот оно, *большое знание*, уже перед нами. Но долг путь, и лень идти.

 Когда появилось у меня чувство бесцельности? Иные определяются как-то вовремя и всегда верно: вот этим одним я всегда завидовал, они знают, чего хотят. Блажен, кто смолоду был молод, Блажен, кто вовремя созрел, Кто постепенно жизни холод С годами вытерпеть умел… Кто в пятьдесят освободился От частных и *других* долгов, Кто денег, славы и чинов Спокойно, в очередь, добился… Вот Кароян освободился и от долгов, и от жилплощади. В армянских семьях такое немыслимо, но с русской женой все мыслимо. Он, конечно, *ударял* хорошо во всех смыслах, заводной вообще мужик. Не совсем и похож на армянина. Что он звонил, что он такое спрашивал? Не насчет ли Херсонской губернии? Ведь Павел Иванович покупал души на вывоз… Но я не поеду. Я твердо решил. Надо ему сказать. Пусть в крайнем случае забирает туда своих доцентов, все равно там одна болтовня.

Рыжий, я тебя понимаю, а ты меня нет. Вот так… А может, наоборот? Рыжий? Может, ты меня понимаешь, а я тебя нет? А? Рыжий? Прижмуренно сидит столбиком, хвост откинут по полу кривой саблей. Подумал, прыгнул на диван и лег. Это правильно, Рыжий, в заду правды нет. Это правильный подход к снаряду. У него всегда правильный подход, о нем, верно, Пушкин и писал. Смолоду молод, вовремя созрел. Он не прост, не-ет, иначе бы Пушкин не посвятил таким целую строфу. Растянулся на диване, правое ухо нет-нет, шевельнется, а глаза прикрыты. Он прохвост. А *про хвост* нечего говорить, негодяй вообще закинул его на спинку дивана! Это же надо так суметь. Да-а… правая лапа лежит на левой, как у того муравья. Вот ты кто: ты бездельник, Рыжий, ты саботажник общего дела всей страны. Тебе никакого дела нет до страны. Тебя, Рыжий, не то что в коммунизм с твоими потребностями, тебя, Рыжий, мы не пустим и в лузеры, не то что в олигархи, хотя ты прирожденный паразит.

Суп пропал, почти целая кастрюля. Проклятая жизнь. Нате, птички, ешьте. Мыши, птички, вы лучше нас. Если бы не прокисло, не дал бы. Чтоб вас… Хочется баклажанной икры… клубники с молоком: в алых ягодах семена сидят как занозы.

Я боюсь кассирши в продуктовом, она так глядит. Это не в первый раз. А продавщицы вообще ненавидят меня, особенно одна. Есть женщины в русских селеньях, что взмах, то готова копна: вот она из них. У нее щеки подступают под глаза и видны со спины. Убьет и не поморщится. А что? Метнет в тебя банкой помидор, а в ней полтора кило. Половинку хлеба она всегда отрезает мне меньшую. Она вечерами прогуливает собачку размером с таракана и такого же цвета. Кажется, у них взаимное обожание. Я их обхожу за квартал. Эта собачка готова меня порвать. Если ее отпустить, она откусит мне голову. Я буду торчать у нее из пасти. Вот интересно: что я буду думать тогда? Говорят, отрубленная голова еще сколько-то минут плачет, ей больно. Это у цивилизаторов с гильотиной, которых мы всё догоняем. А каковы ей такие минутки покажутся, откушенной голове? Если *времени нет*?

Возможно, меня хотят отравить. Но кто? Они подговорили кота. И он что-то подстроит. Надо следить. Я видел, как он что-то ловил лапой в моей миске на столе и сразу спрыгнул и смылся, когда я вошел в кухню. Может быть, он вовсе не ловил, а что-то размешивал лапой?! Хорошо, что я умен… о-о, меня им не взять так просто. Какой хитрец! Он пользовался моментом, когда я не вижу: но он не учел, что я умен. Он что-то всыпал в миску и если бы… если бы я не вошел и не увидел… какой негодяй. Его подкупили. Ему открыли счет в Румынии, нет сомнений.

Что же такое ЭТО? Не думать, нет, не думать.

– Я ищу молодую даму, – говорит Марлон Брандо. – Она сидит у окна. – Да, сэр, – всего-навсего отвечает лакей во фраке (или в смокинге?????). – Огден… – полушепчет Софи Лорен. Они танцуют, она держит его левой кистью почти за шею, кисть уже не совсем на плече, почти вся на шее. Ее кошачьи скулы. Она родилась, чтобы таких других не было больше никогда. Чтобы не быть *равной* никакой свинье на улице. Самое гнусное, что придумано на земле – равенство и братство, это даже гаже их свободы. Вот она никому не будет *равной*, а свободна потому, что ей родилась.

 Я вам обоим, знаете, что сообщу, хоть и всем троим, я вот что: я вышел погулять, но решил не ходить. Разумею в широком смысле. И если вы переведете это хоть на один язык мира, то… то туда вам и дорога, чтоб вас всех.

Впрочем, Марлона и Софи обоих прервали ради важнейшего: Устранение запора через 15 минут!!!!!! Но у нас с Рыжим нет запора. Как быть? Это серьезно, нас могут взять на заметку.

…Сегодня я вместо сапога надел на ногу ведро. Как это вышло? Вот как: это была диверсия Рыжего! Он заметил еще с вечера, что я поставил правый сапог левее левого, когда разувался. Получилось, что я поменял сапоги местами. Это такой пустяк, на который обычно не обращаешь внимания – и негодяй это учел! Он напустил свою струю на пол так хитро, что я должен был, обуваясь, стать правой ногой к тому сапогу, что стоял слева, и он как раз пришелся по ноге, потому что он правый! И тогда на левую ногу я должен был надеть то, что стояло слева – а слева стояло ведро!

Какой тонкий расчет, какая подлая, коварная логика! Я едва не вышел на улицу в таком виде, с ведром на ноге! Но это не соответствовало бы моему положению. И он на это рассчитывал. Какой негодяй. Так производятся революции. Все делается исподволь. Наконец-то он прямо разоблачил себя.

Подумать только: я был лягушкой! И вы все тоже, не думайте, каждый из вас, не миновал никто, чтоб вас всех эти самые взяли! Но это-то и ценно! Общий наш путь из прошлого ценен – пусть это какая-то неделя в материнской утробе – но в эту неделю спрессовался, может быть, не один миллион лет в логарифмическом масштабе времени. Мы с Карояном как-то сочли: закон исторического описания – логарифмический (логарифм, скорее всего, натуральный? мы брали десятичный). Если счесть число страниц в учебнике о сегодняшних пустяках и о галльских войнах Цезаря, то нынешний вздор, какой-нибудь партийный съезд – единогласно будем в среду все при коммунизме, и весь Цезарь – одинаково страниц. И весь Египет за тысячи лет – столько же, сколько мировая война. Но и весь закон *настоящего* развития жизни в материнской утробе логарифмический! – прошлое прессуется. И человеком, может быть, плод становится только к моменту родов. (Кажется, отсюда можно расчислить время появления человека на Земле?) Не презирайте же лягушку: все мы были ею. Мои руки и ноги движутся… благодаря ей, эта чудесная возможность – от нее! А глаза, а возможность видеть рябь на воде под ветерком, а возможность квакать наконец – хоть об «окончательной победе социализма в СССР»? Поквакаем же теперь о благе реформ – ведь эта возможность от нее! Ква-ква, больше реформ! Ква, ква, у нас многопартийность! Ква, ква, европейский стандарт образования! Вы слышите, какое чудо? Поэтому клонированные – они не были лягушкой – они будут заведомо уроды. От них родится такое, что сам Иоанн Богослов встанет поглядеть. Они и построят тот социализм, из которого уже некуда будет бежать. Грядет ли творцам того, генетикам и прочим, наказание Твое? Или отвечать нам опять всем миром, круговой порукой? неизбывной «соборностью», чтоб ей туда же?

…Мне снится запущенное, заросшее место и в нем опрокинутая деревянная пирамида с расколовшейся гипсовой вазой на ней – вывороченные корни досок истлели и подсохли, краска на досках завернулась шелухой, похожей на лепестки, ваза же – в застарелой плесени, зеленой пыли и едва различима в траве. И все это сопровождается песней, исполняемой нежным сопрано:

 Там сохранилось чудо из чудес:

 Там ваза сохранившаяся есть,

 Фонтанчик начинал в ней бить всегда,

 Там, у него, она сказала «да».

Четверостишие, конечно, несовершенно, но во сне воспринимается иначе. Нежный голос льется как будто в пустоте над всем.

 Вчера переходил дорогу и в лице водителя мелькнуло желание на меня наехать, но он удержался. Иногда к вечеру так хочется плакать. Я не выношу заката. Закат, исчезновение, прощание. Какая боль.

Гулял по городу, сел отдохнуть на лавочку в том самом сквере «на троих». Прямо перед глазами остановка автобуса, там ожидали люди, приходил автобус, кого-то забирал. Картина как будто менялась, но оставалась той же. Это завораживало – перемены, оставляющие все прежним! День угасал, темнело. На соседнюю лавочку сели какие-то двое, вида обычного убогого, коричневато-серого, но что-то шло от них, что нарушило ворожбу. Одиннегромко рассказывал другому, доносились обрывки.

– Да там делать нечего. Я думал что-то там. Замок вообще на одном шурупе. Ну и все. Там одни формулы, какие-то жучки, думаю что я тут буду, заберу всё, в сумку покидал… Но она, сучка, половину бабок отдала, а теперь пошло кидалово – завтра, послезавтра. Скользкая, сука, как намыленная. Я ее отловил в тихом месте – ты что, подруга, базар был? Гоню ей – там три замка секретных, сейф, ты понял? Я, говорю, наработал на три тонны, ты мне штраф гони!.. Но она щас в этой, администрации, не подойти. Демократы, козлократы… Думал, ему что ли, по чайнику дать за эти дела – потом думаю, я же не падла какая-нибудь, так? И первого опять на кого подумают? Она же и сдаст. А поглядел еще на нее, глаз такой у нее… веришь, хоть ботана этого пожалеть, такая курва ему досталась!

– Я не въехал, дак она его баба или че?

– Не, жены сестра, что ли. Прикинь, повезло доходяге на родню.

Мне стало очень тяжело, не пойму отчего; я поднялся и ушел домой.

Нашей двухэтажке послана нечаянная радость: кто-то начисто обрезал у дома провода (сдают медь на лом), и мы без света. Как славно.

Рыжий признался!

Он признался, что он румынский шпион. Я совсем не бил его! Я только взял ремень. Я решил дознаться. Он запрыгнул на шкаф, который я только на прошлой неделе (или когда?) поднял, но еще не восстановил (еще все из шкафа лежит в углу). Он запрыгнул на шкаф, ловкач, прямо с пола на стул и со стула на шкаф – два толчка в один – и закричал – он так страшно кричал: – Да! – Да! – кричал он. – Ты кормил меня шкурой! Я страдал! Я не хочу быть бедным! У меня семья! (Каков наглец? Где у него семья? Вот наглый.) Он забился под диван и выл там. До чего ушлый зверь: семья у него! Бьет на жалость. Я решил, что прощу его. Да, я прощу: за то, что он сознался. Вылезай, Рыжий. Мы с тобой одно и то же, ты и я. Мы братья, Рыжий: нас обоих в этой жизни нет.

Итак, он шпион. Но это побоку. Я все равно должен найти. Я чувствую, что это где-то вблизи. Это искажает стекло… угол падения. Этот угол не прямой. Не все так просто. Угол падения равен углу лежания. За углом много других людей, я видел. Это ничего. Они уйдут. Я-то не дамся. Не рассчитывайте. Я опишу углы кирпичей: это замечательно. Я настоящий ученый. Что они там кричат? Кажется, они кричат: «демократов на фонарь!». Дурачье.

Идет война. Эта война безжалостнее той. Идет отбор худшего – худшего не по Дарвину, Дарвин глуп, глупее Рыжего, тут и сравнивать нечего. Рыжий – это уровень генерал-лейтенанта. В Румынии у него точно генеральский чин. Это новое худшее должно быть (как они думают) без благородства и добра. Но без добра не жить и злу, при всей его силе.

Мне нужна лаборатория. Я понял суть опыта.

 3.ДОМ ОТДЫХА ДЛЯ ИЗБРАННЫХ

 (август)

 Нужно сказать, что когда я еще был… там… на воле, Канта я вовсе не читал. Здесь я читаю Канта под кроватью. (Я отвоевал это жизненное пространство, но об этом после.) Понимаю я его плохо… да, это нужно сказать. Он напоминает мне из детства… в \*\*\* был один дурачок, по-теперешнему, олигофрен, в этом \*\*\*, городе дальней поры. Звали его Ваня. Одет неизменно добротно, опрятно – надо полагать, одет мамочкой, кто еще стал бы так ухаживать за ним? Экипировка менялась по сезону, но помнится в особенности его фуражка, именно фуражка, а не кепка – из добротного сукна, что-то почти правительственное: Киров с нами! – и что-то вроде кителя или френча, тоже не без высшего акцента из тридцатых годов. Солидный, начальственный Ваня – мощный крупнокостный череп, голова с грубыми чертами лица насажена прямо на плечи, плотное туловище, лицо розовое, как освежеванное; ходил он за многие метры слышимой, тяжко ступающей походкой. В те времена лицо его пугало пацанов вроде меня (и, наверное, женщин? вот интересно, я только сейчас подумал: ведь и женщин? Или, может быть, совсем нет? может, он их притягивал? Какая странная мысль. Что мне за дело?). Этой топотной, тяжкой походкой он ходил по центральной улице, заходя в парикмахерские, на почту, во все общественные места, а не то подходил прямо к избранному им прохожему и с призывным доброжелательным мычанием, улыбчиво открывая страшные зубы, совал ему в нос какую-нибудь жестяную табличку, к примеру: «Храните деньги в сберегательной кассе!» – всегда жестяную, фабричного штампа, с текстом разным, но опять же официального, *утвержденного* содержания. (Возможно, иных и не существовало.) Табличку он ни в коем случае не отдавал, а только показывал, держа ее в корявой лапе перед объектом агитации – хвалился ли ей, своей ли причастностью к той высшей силе, что производила эту продукцию, делился ли информацией? Привычные к нему горожане просто обходили его с его табличкой, покивав с фальшивой улыбкой или так, поскорей и без улыбки – но с непривычки от внезапности агитации и агитатора можно было и окочуриться. Содержание табличек его, кажется, не интересовало, но очень возможно, что его привлекала серьезность, ответственность и государственная выверенность установки, так надежно выделенной на блестящей цветной эмали четким шрифтом – да и передал же ему гены, может быть, зачавший его по пьяни какой-нибудь залетный государственник… Сработал какой-нибудь резус-фактор и вот тебе готовая пародия (как она близка!). Где он брал эти таблички, я не знаю. Пацанята, отбежав безопасно, скалили зубы и дразнили его с дистанции. Возможно, он ощущал досаду, но не проявлял агрессии. Его доброжелательность никак не вязалась с его страшноватым обликом. Он явно ощущал себя выше этих пацанят. Его задачи пропаганды и внушения стояли выше мелочей! Чаще всего он околачивался в центре, и энергия его была неимоверна. Возможно, он заменил бы Хрущева на его посту не с худшим результатом. Он ходил весь день с самого утра. Широкое освежеванное его лицо излучало чудовищную силу. Сразу после завтрака, чисто и правильно одетый, он выходил из дому, затем, нашлявшись и сагитировав сколько-то десятков граждан, надо полагать, уходил обедать к своей мамочке, после чего появлялся снова и неутомимо ступал крепкими ботинками по тротуарам города до самого вечера. В темное время суток я его никогда не видел, да это было бы, пожалуй, и чересчур.

Я горд, я удержал цель рассказа: зачем он? А вот этой энергией и основательностью Ваня из моего детства напоминает Канта. С той же неутомимой доброжелательностью герр профессор предлагает нам свои таблички-антиномии, которых на каждую можно привести в пример еще десяток и которые ровно столько же значат, сколько таблички в лапе Вани. С немецкой профессорской дотошностью он вымеряет некий квадрат спекулятивной почвы и перелопачивает его до грамма и перетирает до молекулы, удовлетворенно убеждаясь: *здесь нет*. Вымеряет соседний квадрат и после тех же процедур, перетирая опять до молекулы, убеждается: и здесь нет тоже. И так далее. А между тем заранее ясно, что там и быть-то ничего не может. Ведь он намерен из клетки логики добыть истину, которая вся вовне. Вот они-то и основали прогресс: Европа – это жалкое чудовище, это ухудшенный, злой Ваня. Им негде ходить, у них нет простора, в этом все дело. У Вани был целый город, у Канта – лишь дорожка от кафедры до ночной вазы. Они невиновны, они должны были отупеть.

Читать под кроватью удобно, ведь я укрыт! И моих мыслей не видят. Мои мысли совсем неподходящи для здешнего общества, где публика… публика совсем не та. Да, это нужно сказать прямо. Здесь совершенно не с кем говорить. О чем? Это полное дурачье. Совсем как на семинаре в… (где это было? Бог с ним). Такое же точно дурачье (все-таки: что за семинар?). Я имел честь посещать его в качестве… неважно. В качестве такого же болвана. Честно сказать, я позабыл. Это очень ослабляет: ощущаешь точно вину. Бывает, что я могу вспомнить как будто островок, я почти знаю, что там вспомнится, но на сам этот островок мне никогда не попасть. Он точно заколдован. Я на это плюнул. Я научился этому. Не все ли равно? Вот и сейчас я помню не сам семинар, а только его сидельцев: они отдельны, они сидят на стульях, но я вижу их как-то вообще, не лично. Может, они просто думают каждый о своем. Разве этого не может быть?

Я точно помню, что и там этого Канта вовсе не читали и даже не вспоминали. Как и другого… как его, Декарта. «Я купил пальто, следовательно, я существую». При чем тут «следовательно»? Постулируется причинная связь? Европа – это свора полоумных. «Я купил…» неважно что, портвейн! Следовательно, существую. Ну, и дурак ты после этого! Портвейн не для того покупается, и мыслят не для этого… Ты существуешь (если это так) постольку, поскольку Господь в тебе… и в лягушке, которой ты сам был… в профессоре Канте… Чтоб вас всех и нас всех туда же…. Как тяжело с ними всеми. (И, кстати, где пальто? Ведь без него я не существую?)

Как, однако, бывает тяжело о чем-то думать. Начнешь о чем-то, цепляется что-то близкое, но совсем не то, совсем иное, как репей. И обратно по этой цепочке уже не пройти. И не вспомнить: о чем начинал? Бывает так нехорошо. Это все равно.

 Я выискал эту кантовскую книжку в груде макулатуры, сваленной зачем-то у нас во дворе, прямо к забору. В этой груде сплошные пленумы ЦК – возможно, решили, что вот тут-то им самое место. И как раз тут прогулка! Она не для всех, но я выхожу всегда. Я это завоевал! Мне доверяют (меня зовут: профессор). Я присел и подобрал книгу без обложки и сунул ее сразу под пижаму: я ловок, да! Я только с виду дурак (я шучу, я люблю пошутить). Обложка оторвана, но это еще лучше.

На меня никто не ругается, кроме грубияна с серым лицом в нашей… комнате, в другом углу. Я ему не доверяю. Он всех называет «хмырь». «Эй, хмырь!» И служащим так же точно и всем вообще, кроме женщин. Женщин он называет: дура. «Иди, дура, вон». И весь диалог. Все привыкли. Я слышал, что он из бывших *работников.* Стало быть, мы здесь не совсем простые. Ему не нравится никто. Не нравится, надо полагать, он и сам себе. Но членораздельного он говорит мало, только бубнит, бубнит себе под нос без конца. А вслух и ясно – редко что-нибудь кроме «хмыря». У него серый халат, такой рваный! С единственной пуговицей! Его часто бьют. Его тоже за глаза называют «хмырь», позывной прилепился к нему самому. Его амбиции велят ему утвердиться, но утвердиться он может только за чужой счет. Он вечно раздражен. Вот эта его досада – она все варится, варится в нем, и он бубнит, бубнит. По-моему, у него что-то с головой.

Я лежу себе на полу – пол крашеный деревянный, прохладный и гладкий, немного пахнет хлоркой. Надо мной завешено чуть-чуть одеялом, но я открываю угол и мне видно. Лучше, чем на кровати, где все тебя видят! И любой может ударить. И главное, прямо окно, а там лето и так светло! Что же, что решетка? Это необходимо, только и всего. Лето! Лето... Где ты теперь? Что я спрашиваю? О чем? Меня оставили в покое. Были неприятности, но теперь их нет. Всякое место в жизни нужно отвоевать, разве не так? Потом они привыкнут. На это, конечно, уходит время, но зато потом и время, и место уже твои. Я отвоевал себе это место под кроватью – и вот привыкли и знают, что это мое. Выгоняют только для мытья полов. Это далось нелегко… теперь я помню только общее чувство чего-то неприятного… совсем не по моей душе. А подробностей никаких нет. Так и лучше. Лучше не помнить. Уют внутри тебя. А люди – только самое тупое, что сотворил наш Господь, и вот теперь он не знает, что с этим делать. Лучше уйти от них в нору, и там все твое – и вот ты думаешь что хочешь. О чем хочешь; а о чем?

Это так, несомненно *так*, но я не знаю *что именно*. Нужно искать.

…Перед утром видение сна – отчетливо-ясное, словно бы явь из проступившего завтра: зеленеющий сад, огородные грядки – и тут же следы «вчерашнего», то есть нашего нынешнего бытия, претворенного в новую будущность. Это следы нашей нынешней техники, даже высшего ее взлета, самых ее вершин: головная часть ракеты (стерто-алым по ней: «Венера-8»?) здесь претворена в шикарную серебристую собачью будку с иллюминатором и тонко блистающим громоотводом на заостренной вершине, – по-видимому, полностью обезопасившим обитателя-пса от гнева Юпитера (то бишь молнии); подальше к грядкам – белый дутый скафандр приспособлен служить пугалом, для чего закопан по пояс в землю: поясное пугало, пугало-бюст, глядящий и в самом деле опасно, тем более, что за стеклом шлема бледнеет кто-то изнутри… тут и там поблескивает металлом что-то еще, отдаленнее и тусклее – и покой солнечного дня, в котором научные успехи обнаружили свою окончательную пользу и нашли приложение к месту. Хозяев не видно, но они где-нибудь тут. Возможно, это еще только утро солнечного дня. Ощущение вместе хозяйственности и покоя, господней благодати и упокоения в ней тщеты остановленного бега.

Уже наяву, сквозь тот сонно-солнечный свет – сухой простенок между окон и казенное утро.

Хозяйственность и покой – возможны ли они в достославной державе, где самые умные люди – это воры, а самые тупые – интеллигенты? Возможны ли – где-нибудь далеко, вдали? Нет ответа. Несется где-то в стороне поток пустого, поток тщеты. Что же теперь? Теперь таблетки, это нужно. Это излечение.

Серый Хмырь сидит на серой кровати и смотрит перед собой. Не бубнит. Задумался? Запавшие глаза и довольно высокий лоб… но как-то собранный вперед, к бровям. Вот я, я работаю: я пытаюсь *вспомнить*. А он? Может быть, и он? А что если он вспоминает *то же*, что мы забыли с ним одинаково? И вот мы здесь, где нам помогут. Нам помогут, как это может быть иначе? Ведь то, что мы ищем, необходимо им всем. Только они… они пока не знают, а лишь чувствуют это. И они ждут. Конечно, чувствуют, не могут не чувствовать. Что нормальны здесь одни мы, которые ищем. И они понимают… почти понимают и помогут нам.И тогда, когда мы найдем… настанет та зеленая тишина. И то солнце, и та успокоенная «Венера-8». Мы будем среди зеленой тишины. И там по тропинке идет кот Рыжий, задравши хвост. Он где-то шлялся, и вот пришел. Где ты, Рыжий? Помнишь ли ты меня? Ты, единственный, кто меня любил? Ведь любовь – из тех редкостей, что нельзя утаить. Где все, что было, где осталось оно? Отчего его нет сейчас? Или оно с нами? Оно вернется, оно отразится *оттуда*, куда ушло. *Там* знают, что нам оно нужно, и вернут.

Кажется, я спрашиваю вслух. У Хмыря глаза глядят как из погреба и на лице гримаса усмешки, которая ему не идет. Зовут на завтрак.

Люди, Рыжий, заняты одним разбирательством – расширяется ли Вселенная (спрашивается – куда?), пересекаются ли параллельные и сколько украла любовница NN, и лишь самое простое неведомо им – достоинство зверя и его скромная одинокая любовь.

Рисовая каша и чай.

С наукой на самом-то деле не так все сложно. Представим себе – о, конечно, сниженно, грубо, а все-таки представим… ну, пускай: плоскогубцы. Так? Ну вот. Познают они, скажем, электропроводку? Нет, право: познают? Ну, нет же, скажете, нет. Разумеется, нет. Ну, так что же: значит ли это, что нужно «отменять» плоскогубцы?

Ну, так и наука почти то же самое. Как обычный инструмент – продолжение человеческих рук, так она – продолжение разума. Но, простите, познание мира? С чего вдруг, какое?.. Нет там ничего, кроме плоскогубцев, начиная хоть с Галилея, хоть с кого. «Знание – сила», это Бэкон. Не истина, а сила им важна. А ложь там внутри сидит, это уж как хотите. Стало быть… что? Вот ведь, забыл что думал. А быстро хотел, спешил, оно очень быстро поехало… не успел. Вот оно, только что было. Ах, боже мой.

Ничего. Я привык, это ничего… это вернется. Вернется жизнь человеческая, вернется ЭТО. Вернется зеленое и свет. Сегодня наши с тобой люди, Рыжий, – это главные в мире воры: украсть у природы нефть и уран, у птиц и зверей их тайгу, украсть и продать. Это, Рыжий, воры-богатыри, им ничего не нужно, они богатырски просадили Волгу, Днепр, Ангару, тайгу, свою страну и богатырски просадят планету, – но там, откуда вернется к нам отраженное… там решают, когда остановить. Мы не знаем, *когда*, мы не те, кому следует знать – но там те, кто знают, там следят, и мы увидим наше зеленое и свет.

Они говорят, что мне пятьдесят лет! Еще одна глупость. Глупостью больше или меньше; я привык. Люди дурачье, но что из того? Пускай. Все равно. Если мне пятьдесят лет, то где же я был? Это же не пятьдесят дней. Куда же они подевались? Но разве им важна логика. Зачем им логика? Плевали они на логику.

Что-то я думал вчера, но листок потерялся. У меня пропадают листки, я заметил. Нужно прятать: я придумал сворачивать их в трубку! У этой кровати снизу (кровать прикручена, но это лучше) есть пустота в ножке, трубчатая пустота, и очень ловко! Ведь снизу не видно! Да, я ловок! Как работает у меня голова: а лежу под кроватью?! Вот судьба мыслителя! Вот средство последнее место сделать первым. Шучу ли я теперь? У кого спросить, шучу ли я? Как это странно.

Не знаю ничего нелепее идеи равенства (она же «соборность», «община», «мiр», «колхоз» и все разновидности этого, включая римское право) – пусть я под кроватью и последний, но я не равен никому. Меня такого одного господь создал – плохого, ни на что не годного, но одного-единственного такого плохого и не годного.

Чернь убивала королей, а чего достигла? Какие-то права человека. Ты сначала человеком стань, свинья. Права личности. Вон Томас Мор был личностью, за что и отрубили голову. Только поздно, он уже коммунизм изобрел. Раньше надо было. Вон она, еще одна личность сидит. Как к обеду, так у него больше злобы, я заметил. (Может, и у меня тоже? Надо обратить на это внимание. Нужно следить за собой. А то может плохо пойти лечение.)

Иногда у меня сомнения. Вечером, к закату. У нас два окна почти на запад, и теперь, к осени, когда солнце все южнее, закат бывает прямо в окно. Такое чувство будто… да, безнадежность.

Все-таки здесь я сам по себе и можно записывать. Зачем? Это нужно. Развитие языка есть единственный путь мысли. У меня карандаш и я затачиваю его о ребрышко на ножке кровати, там заусенцы и остро. Ножей нельзя, ножи отбирают. Так проходит время до прогулки, потом обед, таблетки и сон. Еще опять можно думать до ужина, и так идет моя жизнь. Слава богу, убрали одного возбужденного, куда-то перевели. Был худой, такой худой! Но в нем в момент пробуждалась страшная сила, неизвестно откуда, отчего, – трое не могли скрутить, бежали и наваливались четверо, и вчетвером кое-как. Привязывали к кровати, так он и с койкой, наверное, прыгал бы, только она привинчена, и он только выл. Это называется фиксацией. Симпатичное слово. Лицо у него делалось свекольного цвета. Это неприятно. Вой отвлекал от мыслей. Теперь хорошо. Новый третий только лежит или ходит. Возможно, он немой. Он немного странен. Четвертого что-то нет… уже три дня. Его куда-то унесли.

А мыслить хорошо… да! Что на свете лучше мыслей? Размыслишься и вспоминается что-то… что-то же было? Видишь вдруг приморский город, пляж и людей: люди, люди… много людей! И все, все разные, ни одного одинакового, и в каждом бьется сердце и свои мечты, а как же? И никто не догадается подумать о ком-нибудь другом: а что у него за мечты, какие? Сколько людей, которые хотели бы услышать, что мы любим их! Кто скажет им? а им это важно. И вот они ждут чего-то и перестают ждать. Вот я спрятался и не виден, я что? Ведь я *совсем* не виден, а у меня свои… мечты и бьется сердце. И никто не знает, никто! Разве не удивительно? И вдруг я выйду и скажу о них? Нет конечно, но если представить? Вот этот, с амбициями, у которого все «хмыри»: у него ведь мечты? Может, он думает, что он какой-нибудь значительный человек? А почему халат? Ведь он не может не видеть халата? И вот он выстраивает свои ходы, почему халат. Или он догадался? Я-то знаю, почему у меня халат: я на излечении. Но он-то: он не поддается коррекции. Он завяз в своих кругах, как этот Кант в антиномиях.

– Эй, хмырь! – окликает он вдруг (по интонации – меня). Я выглядываю: какой он серый, в углу. Он что-то бубнит, потом опять: – Хмырь! Чего залез? – Это плод его долгих раздумий. Идиот – я заметил – может производить впечатление обстоятельного, серьезного человека. И чем он тупее, тем впечатление более внушительно. Поэтому нас не должно удивлять... ничто происходящее.

 – Ну что, профессор? – говорит вошедший санитар Олег, рослый как они все, вечно в своей напяленной серой беретке. Благородное лицо, лоб высокий и разглажен, а не собран, как у Хмыря. Это тот же прежний *мой* Олег, он перевелся в стационар… как и я. Вот как бывает, мы оба здесь. Как будто он перевелся специально для меня. Я только сейчас об этом подумал… Надо не забыть. Это называется инверсия. Всего лишь инверсия? Я что-то хотел не забыть. Но что?

– Вылезай, обед. Русские щи. Уважаешь щи? – сам уже что-то жует. Я знаю, почему он в этом берете: у него плешь, похожая на Африку. Он прячет ее под береткой.

– А ты русский? – вдруг угрюмо вопрошает «хмырь». Лицо у Олега враз переменилось, напряглось. – Допустим. А что? – спрашивает он, готовый уже к броску, как японец.

 – Русский в шапке не жрет, - сообщает ему «хмырь» презрительно и вызывающе. Олег молча проглотил, что жевал. Он не стал связываться и вышел.

– Чего залез, хмырь? – повторяет этот мне опять. Меня прямо выкатила из-под кровати какая-то волна. И вот, знаете, что я ему ответил? – Ты глуп, как Кант!

Он даже опешил. Неплохо я ему, а? Европа такого не слышала.

Но ведь и в самом деле многие забыли, что русские в головном уборе не едят. И оттого, что забыли, происходит несчастье русских? – *Это* ли то, что я хотел вспомнить? Что жаль их, жаль этого целого мира и так сильно жаль особенно русских, их особенно? Славянский ум и в анализе ощущает бровку совести, за это народ изглодан государством – тем и этим – марксистским и его преемником, его кровь выпита, мы не нужны никому, не нужны и никакие наши способности, мы страна невостребованных людей, нужны только управители, их все больше, – но неужто всего только обнажить голову при еде и что-то изменится? И мы оживем и вернем… вернем? все мы вернем ЭТО? Из малых движений сложится наше общее, отличающее именно нас? А если в самом деле так, и этот «хмырь» один и прав??? Нация женского типа, ее – эта внушаемость и шатаемость, и эта силища, которой, может быть, равных нет, и эта мягкость и уступчивость, которую принимают за слабость – вытянет ли она себя снова? Вся Россия стоит на русской бабе, оттого и логика у народа женская, потому и живем из ямы в яму: эта логика туда загоняет, а эта силища оттуда вытаскивает, но она не безгранична, и у них на это расчет: женский тип – как медведь или лошадь, уже не отучишь от «слабости», если приучили… Расшатать, растлить… они принимают доверчивость за глупость. И они почти правы…

Немного больно в голове. Это иногда – как будто гул, будто едут, едут. Куда им ехать? Пройдет. Пошумят, да и только. Без меня куда им ехать?? Не поедут они.

Врач позвала к себе, сказала: приезжали из вашего продуктового, передали вам посылочку. – ??? – Печенье, мармелад и яблоки. Вас там помнят, очень жалеют, говорят, что вы очень страдали. Приходила продавщица Валя, такая большая, с маленькой собачкой. Яблоки ее собственные, из сада. – Бог знает что. Я не ем мармелад. Куда мне? Целый пакет с ручками. Валя… что за Валя с собачкой? Еще какой-то островок, на который мне не попасть. Продавщица… большая с собачкой... Было еще что-то сказано? Собачка… коричневая?? Коричневая собачка… банка с помидорами… Идти на обед.

Я подсчитал: здесь около сотни потенциальных монархов и глав государств, не считая меня (я устранился). Если нас всех разместить согласно статусу, государств на земле едва достанет для нашего трудоустройства. Это лечебница большого значения: здесь не случайно свалили пленумы ЦК за тридцать лет. Целая гора! Врачи ругаются: в пленумах завелись крысы, как видно, пленумы пришлись им по вкусу. Крысы умны, из них выйдут ловкие читатели. Но как они будут перелистывать внутри такой свалки?

Из другого отделения стал приходить ко мне человек. Как-то вдруг он подошел ко мне во дворе, где я гулял (мне разрешают), и говорит: простите, вы не знаете Карояна? Я спрашиваю: Тиграна Ашотовича? Был немного хмурый прохладный денек с высокой облачностью, я люблю такие, но бывает грустно. Кругом ненасыщенные цвета, акварель. Ходишь, ходишь, с кем-то говоришь, представляешь себе кого-то доброжелательного из прежних знакомых и все говоришь ему, говоришь, он понимает, сочувствует, слушает… И этот стал приходить и вести со мной разговоры. Мне они совсем не по душе. Он вежлив, не то что «хмырь». Но манера этих разговоров такая: – Видите ли… м-м… можно ли узнать правильно ваше имя и отчество? – Вот такая манера.

Я сказал имя и отчество: Вадим Васильевич, хоть мне это не по душе. Если ему сообщил обо мне Кароян, то что ему еще нужно? Он тоже представился: Игорь Иосифович. Мне это все равно. Такое лицо… мыслительное, а как будто и кропотливое, озабоченное чем-то мелким, словно с досадой на какой-то пустяк; я это понимаю. Спрашивает очень вежливо опять:

 – Вы, кажется, интересуетесь философией?

Я очень скромно отвечал, что читаю сейчас Канта и не пойму: если это у них отличник, то кто тогда у них двоечник?

– Вы не совсем правы… – он говорит. – Видите ли, Вадим Васильевич, европейская философия, начиная, собственно говоря, с Платона, нами понимается нередко упрощенно…

Я опять выразился очень скромно, чтобы только отвязаться, что идеи Платона, по-моему, таковы, что происходящее на земле для него только неудачное воплощение этих идей, что-то вроде производственного брака. – Может быть, конечно, так оно и есть, – говорю я. Но от него не отвяжешься. Опять «видите ли» и все такое.

 – На самом деле, – говорит, – платоновские идеи в чистоте присутствуют в наличии прямо здесь же в этом мире, если хотите, прямо следует вот тут за нами. В этом-то все дело.

Мне это показалось возможным, но только что же из этого, если Кароян в подвале на картонке, а других и вовсе «фиксируют» на койке? Он возразил, что как раз это-то всегда было и останется и оно подтверждает, что идеи *желают* войти в нас в своей подлинности, но наше сопротивление им столь велико именно оттого. Наше сопротивление идеальности обусловлено как раз силой их желания воплотиться. Я не возражал. Что возразить? Сказать идеям, чтобы прекратили нажим? Но тогда мы вовсе ляжем кверху животом и не двинемся. И тогда они в нас войдут? А может, поглядят и плюнут? Я бы на их месте плюнул и ушел.

О Канте он тоже выразился как-то так, что стало яснее. Хотя как раз «коперниковский»-то его переворот хуже всего. Он навязывает миру жизнь «по понятиям»: объекты должны соответствовать понятиям! Я этого не понимаю. Человек предписывает природе законы, ну да. На свой лад и на свое дурацкое хамское разумение. Но что же тут хорошего? Прагматизм у них отовсюду так и прет. По его, Канта, мнению, Бог не принадлежит к миру явлений, то есть явлений *явленных*? Но светлая сила есть и принадлежит! Ее-то наличие доказуемо! Еще как доказуемо!!! (Мелькнуло что-то, но не успел.) В волнении стал думать свое и деталей не запомнил. Потом он говорил о других мыслителях:

 – Я отчасти согласен с вами, но Декарт на самом деле трактует познание не так однозначно… У него там есть существенные оговорки…

Ну, и господь с ними! Если подлинного познания нет и не было никогда, познавали одни модели! А главное, не нужно его, все уже дано! Дан воздух и легкие для дыхания, дан мир целиком! Если отбросить войну, то это познание людям нужно столько же, сколько кошке алгебра. На войну они все и работают, ученые, хоть с Лагранжа и самого Эйлера начиная, на эффективность убийства, да им только за это и платят. Любой учебник физики начинается с полета снаряда и кончается бомбой и Хиросимой. По их формулам возможна только смерть! А что нет познания истинного, это и Ньютон сознавал прекрасно, да и какой ученый, если он не идиот, полагает, что познает мир? Естественно, Декарт это понимал, он же не Хрущев. Конечной моделью не обнимается бесконечное, потому и обрушается планетарный Божий мир от внедрения этих моделей – ибо они чужды жизни живой, враждебны жизни живой! Любому ясно, если напяливать модель на реальность, то реальному муравью останется только сгинуть: он в модели не учтен. Но как остановить? Нужно *демонтировать* 9/10, а кто это нынешний поймет и согласится? Этим энтузиастам «нужна энергия». Пока не долбанет их коллайдер или уж такой планетарный Чернобыль, что и демонтировать ничего не останется.

Где адрес правды?

Этого некому осуществить… ну, так это осуществит Господь, когда лопнет мерзость прогресса, как лопнул коммунизм, только гной растечется уж не по стране, а по планете, все будет мертвая вода, неоткуда будет напиться твари земной – вот только… мне-то тут что? Для чего это мне, для «правды» и гонения за нее – гонения никому-то не видного? И правды моей – никому-то не ладной, никому не по душе? Разве только из-под кровати, рабочего моего места, опущусь еще поглубже метра на два, и *там* увенчают лягушечьей короной за то, что словечко молвил за них? Такая крошечная коронка от зелененьких вокруг, глядящих на тебя… такими зелеными глазами.

Но если пятеро в мире поймут, этого довольно. Сегодня делать этого «никто не даст», а завтра все будут в этом участвовать, дружным бараньим стадом.

– И снова всё… – вопросительно смотрит И.И. Кажется, я проговорил что-то вслух.

– Перегадят, разумеется.

Он задумался, потом без связи с прежним заговорил о Логосе, но тут я не понял почти ничего. Что такое Логос? Посредник между лягушкой, которой мы каждый были, и Тем, кто спросит наконец за все? За все коллайдеры и за все успехи всех академий мира? И теперь мы все с этим Логосом только на пути от лягушки к Нему – Олег и «хмырь», и тот наш новый, который все ходит, ходит по коридору и все молчит? Может быть, он-то как раз готовится ответить за нас всех *там, где у немого явится речь, а речистые онемеют?*

Что мне за дело – и что оттого, что я, может быть, прав?

Кроме нас, по двору гуляет Вера – прижимает к уху синюю пластиковую коробочку. Это детский мобильный телефон с кнопочками, но, кажется, без какой-либо начинки. С этим телефоном она не расстается, по крайней мере я вижу ее вечно с ним. На вид ей лет тридцать пять, она следит за собой, у нее хороший цвет лица, и выдает ее только взгляд – почерневший, ушедший в себя. Чаще всего она взволнована, как сейчас, и ссорится по своему телефону с милым, которого зовут то Коля, то Саша. Сейчас его зовут Коля.

 – Алё? Да. (Молчание, она «слушает».) – Да что ты мне говоришь! Я тебе так и поверила! Всё! Всё! Я тебе сказала! Не звони мне больше! Никогда!

Пока мы проходим по двору в разные стороны и идем опять мимо друг друга, они помирились.

 – Случилось! Да. У нас дверь сломалась. Сломалась дверь! У нас авария, сломалась дверь. Да, надо снимать и делать. Ты думаешь? А какая? А, знаю! Нет, зачем. Я сама. Я не знаю, надо ехать. Нет. (Молчание.) Так ужасно, я не могу. Тебе там хорошо говорить. Я устала. Алё? Алё? Да. Да. Я понимаю, что же делать. Как бы я хотела… Если бы ты знал. Так ужасно. «Знаешь»! Ничего ты не знаешь…– удалялось от нас. Кажется, она сдержанно плачет по телефону. Она не хочет показать *ему*, как ей плохо. Говорят, что она здесь давно и поначалу металась; теперь стихла, и ей разрешают гулять. Хоть одной помог *прогресс* в обличье мобильного телефона. Итак, уже два полезных научных продукта: дальнобойка калибра двести три и детский мобильник без микрофона и начинки. Зачтем их мировой науке в плюс.

При следующем проходе новости не у нее, а у ее милого, но опять невеселые: – Сломался где-то? Ремонт нужен. Не волнуйся. У тебя есть молоток?.. Представляешь, она влюбилась! Такая дура! Дурища, ты же видел ее? Приехала сюда, здесь. Я не рассказывала тебе? Какой кошмар! Ну, я же тебе говорю. Ты мне не веришь? В желтых туфлях, ты представляешь? – Она смеется, как Грета Гарбо в «Судьбе солдата в Америке», когда веселья на самом деле нет.

Ее мир населен авариями и проблемной любовью. В нем одни перемены и оставленного прежде не найти на прежнем месте, как в снах со сбитой памятью не найти недавно оставленного пальто… В самом деле, где мое пальто? Двубортное, коричневое – я вдруг сейчас вспомнил! Куда оно делось? Нужно выяснить. Я купил пальто, следовательно, я существую, я потерял пальто, следовательно… Нужно выяснить. Я упрям. Пальто, это нужно записать: пальто. Я молодец. Я все контролирую.

При другой встрече мой Игорь Иосифович спрашивает:

 – Но… разве в церкви грешное не отпускается грешным служителем? – Нет, конечно, но именем Отпускающего! – Но так же и в науке отпускается именем Познания. О котором точно так же неизвестно, есть оно или нет.

Я даже не ожидал от него такого слабого суждения. Это было бы неизвестно, если бы не результат! Если бы не отравленная вода и воздух и вся жизнь кругом! В итоге научного «познания» и «покорения природы»… Можно ли сравнивать??? Просто сегодня мир смиряется перед прогрессом, как перед силой кнута. Но это будет раздуваться и лопнет. Оно не может не лопнуть, потому что внутри этого дьяволова искуса есть неустранимая порочность. Это яблоко Евы, в нем внутри ложь. Естественно, это ложное знание выступает под личиной блага – блага от стиральных порошков и спутников и чего хотите, зло рядится в добро – всегда рядится, непременно, понимаете? – говорю я. – Уже одно это признак того, что ложь сама по себе не может побеждать как ложь, она *вынуждена* рядиться. И уже тут ясно, что это не может длиться. Стиральный порошок удобен – а то, что река отравлена, наплевать. Это не может так идти, потому что в реке лягушка и для нее мы воду не очищаем, а лягушка – это мы сами. Кто заступится за нее? Перелетная птица возвращается туда, где родилась, а на этом месте ничего нет и ворочается бульдозер. Нет ее родины! Что успокоит ее сердце? И наше? Ведь это мы потеряли территорию! Территорию обитания! Мы *потеряли* территорию, на которой построили какой-нибудь завод пластмасс!

Что дает познание моделей? Моделировать можно все, что угодно, и саму Землю в виде сфероида, но если напяливать модель сфероида на живую Землю, то придется уничтожить все, кроме сфероида, то есть горы, океан, траву, муравьев, наши мечты и нас с вами, потому что мы во всяком случае будем какая-то пыль на сфероиде и он уже будет не идеальным. А это так и происходит, потому что зло активно, дьявол воинствен и стремится воплотиться в *своей* полноте через нас и наш «прогресс»… Не верьте прогрессу, несущему удобства, внутри него зло под личиной блага, мы не видим его, но оно проявится скоро, очень скоро, все скорее и все опаснее! Но – говорил я – что Эйнштейны и вся эта чесотка заведутся снова, как заводятся блохи у собаки, если даже отстрелить всех генетиков-ядерщиков, лет через двести они заведутся снова и опять будут рассказывать про свою пользу и опять их будут слушать, потому что отстрел это внешнее, он не у них изнутри, их надо кормить их плодами, чтобы генетики ели одно ГМО, а эти чтобы сами жили в Чернобыле или где еще, чтобы они *внутри себя* поняли что творят, тогда они по одному или пачками будут валить из этих институтов, но что этого ничего не выйдет, не поедут они ни в какой Чернобыль, а если насильно и в лагерь, то будет ореол жертвенности, их станут жалеть, как жалостливая идиотка-бабуля выносила немцу молочка – который, бедненький, притомился убивать наших солдат и пойдет теперь посвежее убивать их снова на ее же дурных глазах, но что эта бабуля на самом деле права и что здесь тупик познания, внешнего псевдопознания…

Я не помню, что я еще говорил. Говорил, что анализ лжет, что дважды два вовсе не четыре, а дважды два четыре только в идеальном мире в головах, где числа чисты от содержания, что нет двух одинаковых муравьев, двух одинаковых букв на бумаге и двух одинаковых молекул, и только Вседержителем объято Бесконечное, что логика враждебна жизни, что механистически-правовое государство – самое несвободное и бесправное в мире, где человек скован по рукам и ногам, и потому чуждо России, самому свободному внутренне народу, и если приживется всерьез, то ценой деформации русской цивилизации, что теперь введут судебную механику, чтобы без сердца и не думать, но сердце-то скажется и выйдет помесь Душечки с Квазимодо, и самую сволочь-то отпустим, и что это им и нужно, это опять навязано нам ненавистниками нас, и мы опять сослепу попадаем на ту же мякину... Кажется, я заключил тем, что земля останется на трех китах. Он несколько раз прикасался к моей руке, очень деликатно. Вероятно, он остерегал меня от какого-нибудь приступа, но я в основном владел собой. Я немного горячился в самом конце, этого не следует. Это может повредить лечению.

Кажется, мы сошлись в том, что дьявол – это всего лишь вроде подполковника. Я в первый раз видел, как он смеялся: счастье в лице и радостный смех ребенка. Ушло из лица его выражение заботы, будто он на время от нее освободился. Не тут ли ЭТО? Где-то тут оно, прямо рядом? Но если напрямую, то это всего лишь путь к детскому, а это несерьезно. Тут тропиночка есть, тоненькая тропиночка… не для всех, но для каждого… тут может скачком произойти… есть точка ветвления (точка бифуркации в теории катастроф) – может, отсюда русская вера в чудо? (опять мелькнуло, но не успел). А *этот*, подполковник с рогами или без, который хочет объехать Вседержителя на своем примитиве, – его «созидание» есть только разрушение истинного мира, его цивилизация – проросшее дьяволово семя, где нас в открытую покупают «удобствами». Сегодня его задача – ввергнуть нас в идиотский хоровод, где все бегают друг за другом и дают друг другу рекламу. И ладно бы ничего этого не производилось – тогда занять миллиарды дураков пустопорожней беготней явилось бы, верно, благом… но ведь оно еще и производится в самом деле и отравляет землю, – землю, воду, воздух и нашу душу! И мешает простой человеческой жизни с хлебом и молоком, со всем тем, что напрямую дает земля… Нет, отчего же, наука нужна – нужна для войны и обороны – ибо рождена злом и для зла – если угодно, она-то и есть в точном смысле слова мракобесие… кроме, да, математики, этой игрушки в головах – в головах! – где дважды два в самом деле четыре (что по сути тавтология и замена названия, Юм прав!) и где вся она – лишь сокращение пути в бестелесном лесу, все теоремы наши – лишь сокращение пути… а нужен Божий лес живым и чтобы птица нашла, где родилась! Чтобы земля на трех китах!!!

Я не мог высказать ясней, спешил и чувствовал, что он не поймет. Но он сказал очень мягко, что в конце концов три кита – это очень симпатично. Я отчего-то заплакал – не от китов, а что-то вдруг… не знаю, отчего. Плакал навзрыд, с страдальческими кликами между приступов рыдания. Я не понимал отчего, и не старался сдерживаться. Он проводил меня до дверей отделения и все держал мне руку и бережно ее поглаживал. Его рука сама дрожала тоже.

Рука дрожит… не могу писать. Для чего? Никто не поймет. Никто.

Его не было два дня, потом шел дождь и я не выходил. После дождя мы опять встретились и некоторое время ходили молча. Он как-то еще погрустнел. Кажется, ему хотелось что-то сказать, но он удерживался. В мире стояло солнышко, совсем уже осеннее, и какие-то птицы судачили на огромных деревьях: «скажи, где челюсть?», «скажи, где челюсть?», другая настойчиво: «что не спишь-то?», «что не спишь-то?», третья голосисто: «просверлю!» «просверлю!». Еще одна рвалась: «Во ВГИК! Во ВГИК!». Из гущи липы, через большие интервалы раздавалось что-то вроде: «плюра-лизм!» «лизм!». Возможно, у них председателем – свой Хмырь. Сколько времени я не слышал птиц? Возле намокших книжных пленумов курили Олег и две медсестры в голубой брючной униформе – высокая, под рост ему, брюнетка и полная, в светлых завитушках, роста среднего. Непривычно видеть Олега без берета: наголо выбритая голова, но «Африка» все-таки заметна.

– Он-то, говорили, грубиян, – словно бы спрашивала полная.

– Мужики… что ты хочешь. Олежек, прости, это не про тебя. Зато она-то: тю-тю-тю, а внутри, чувствуется, мегера, злая, грубая, как струна это звенит в ней. Ты ж его раньше знал? – обратилась высокая к Олегу. – Он же, кажется, тебе…

– Грубиян, не знаю, – прервал Олег. Отвечал он как-то неохотно. – Как будто сердитый все время на что-то, не поймешь. Он был другой, пока не… вот это.

– Что ж им теперь от него надо? (полная).

– Не всю, видно, кровь выпили, – отвечал Олег, глядя себе в ноги. Они все трое отвернулись от нас и смолкли. Когда проходили мимо снова, Олег говорил о ком-то.

– У него мать была хирург. Если б не она, я б давно уже *там* был, – он кивнул в небо. – Из Афгана, считай, покойника везли. Она и спасла… А как умерла, эти вцепились в квартиру. Из московской его выписали, теперь здесь…

– Она свояченица, что ли?

– Она не одна, там все такие же. Той же породы. А он же не от мира сего. Его за границу звали… Приглашение было.

– А сын что?

– Сын там, за рубежом. В университете каком-то. И жена там. Считай, иностранцы. Им тут ничего не нужно, я так понял.

– И он должен подписать? – Не выйдет у них… (Олег), – осталось уже за нашими спинами. Меня что-то затронуло – словно говорили обо мне. Но… мало ли о ком? Не забирать в себя постороннего. Пускай… Однако вот записываю. Я пишу зачем? Да, вот именно. Здесь корень поиска: *как* всё? – и тогда тут обязательно рядом ЭТО, оно промелькнет, и я его цап-царап! Да-да, здесь внимание, именно здесь концентрация. Где-то расслабиться, пустить мимо, набираешь силы. А тогда – оно не ждет, думает проскочить! – а ты его цап-царап! Я изобрел метод, вот так штука: это метод! Назовем: метод кота. Ах, боже мой: метод кота! Ухватить мысль методом кота.

Гуляли с полчаса, потом И.И. как будто решился, говорит:

– Вы, я надеюсь, не думаете, что я мог бы желать обидеть вас? Дело в том, что ваш протест может быть понят как отчасти мальчишеский, вы согласны? Хотя в нем возможна… м-м… существенно большая глубина. Но… м-м… Видите ли, дело в том, что мальчишеская, так сказать, установка… м-м… гораздо ближе к здоровью. А вот глубина… то есть не примите как-нибудь в ином смысле… Вы рассматриваете «светлое будущее», как вы выражаетесь, как объективную катастрофу, не так ли? Но мы ведь не можем знать… ваша жертвенность к миру… Ведь пути неисповедимы… вы же сами… И возвращение к доплатоновскому бесконечному, м-м... Вы не находите, что это регресс?..

Я прямо отвечал, что я нахожусь на излечении и понимаю это. Что тут неясного? Он как-то слабо кивнул и промолчал. Но я решил, что нужно твердо пояснить. Мой диагноз на *их* языке слишком сложен, а я его перевожу просто и ясно: я у них определен как закрытый сам в себе бунтарь, как бы под некоторой крышкой – пусть будет *закупоренный бунтарь*, и самоходно перемещаюсь вместе с бунтом. Мне кажется, такое объяснение яснее ясного. Но что это за бунт, как его объяснить и хотят ли они смирить его *там* или закупорить крышку совсем, мне не ясно.Так я постарался объяснить мой диагноз. Я не стал добавлять, что объяснения моего врача туманны. Она только спрашивает: – Вы помните, что у вас есть какая-то семья? А кто ваши члены семьи? Странные вопросы. Естественно, отец, мать. - Вы ведь имели какую-то жилплощадь? Ну… надо полагать. Она говорит, что я с некоторого момента чем-то подавлен… «обстоятельствами». Это как-то там поглощает… вызывает отторжение, но это ничего, это нормально, все идет хорошо. А на днях сообщила, что моего кота забрал к себе сосед, потому что его выгнали на улицу новые жильцы. Забрал пожилой сосед, назвался… да, Виктор Иванович. Он звонил врачу, чтобы это мне передать. Какие жильцы? Конечно, тут есть неясности, но это все разрешаемо размышлением, не так ли? Она говорит, что обо мне многие люди беспокоятся. О чем? Я на пути. Разве не так?

Кажется, я спросил что-то вслух. Все это время он как-то мялся, в лице у него что-то исказилось. Он вынул платок и вытер лоб, от центра в стороны и вниз к вискам. Потом промямлил: – Их обыкновение… оставить одну крышку. Тигран Ашотович рассказал… отчасти… впрочем, неважно. – Я не понял, что он хотел сообщить.

Потом спрашивает: – Вы используете термин «актуальный», что он означает в Вашем понимании?

Я поясню, – сказал я. Когда петух бежит за курицей, он еще не имеет к ней актуального отношения. Но когда он ее догнал…

М-м… – подумав, сказал И.И. – Кажется, я понял. Хотя это вносит известный произвол… То есть, на ваш взгляд, Декарт не догнал курицу?

 Тут как раз идет мой славный нынешний сосед и нам обоим на ходу бросил так презрительно: «Хмыри»! И дальше пошел в своем сером халате, таком грязном! Какое у него серое, *впитое* внутрь лицо, как глубоко посажены и еще запали совсем в глубину глаза, как они одиноки.

– М-м… да, – отреагировал на все это Игорь Иосифович. Что ж, вот так, у одного «видите ли», «дело в том» и никак не поймешь что говорит, а у другого «хмыри» и кончено. И существуй между такими полюсами. Но так ли далеки они? И где же другие люди? Куда они все подевались?

– Кажется, у нас роман, – замечает он грустно. Впереди перед нами в своем страшном халате Хмырь и элегантная Вера – стоят у горы тех самых сваленных пленумов, которые у нас теперь вроде пионерского костра. – Он не звонит. Послушай, - предлагает она ему свою синюю коробочку. Но тот покачал головой отрицательно. Со стороны – пара старшеклассников в первой поре любви. У него почти нет седины.

– Не осердитесь, Вадим Васильевич, а я… пойду, - говорит И.И. Мы разошлись.

Сегодня опять пришел. Я ему кивнул, но мне неинтересно беседовать. Может быть, он это почувствовал, потому что говорит (опять свое «видите ли»):

– Видите ли, Вадим Васильевич, в этом… доме отдыха для…необычных людей… вам не кажется, что нормальные люди только здесь могут находиться и разговаривать? Возможно, существует план, - наклонился он ко мне, - переселить сюда всех, кто еще мыслит. - Мне показалось, что он волнуется. - А это, - кивнул он на гору пленумов, - наша будущая библиотека.

Мне это не приходило в голову. Едва ли он шутил в том смысле, что мысль есть болезнь. Что-то еще незначащее мы говорили… о столовой… она нехороша… я хотел уйти. Он милый воспитанный человек, но мне необходимо *найти*. Потому что найду только я. И тогда они все очнутся – Олег и «хмырь», и Кароян, и все они там, на воле. Ведь они ждут. Они чувствуют, я знаю, - эта тревога внутри них – они живут только для вида, а внутри у них чувство, что вот *это* придет… зеленое и свет.

Вдруг я что-то сообразил: - Как? И Кароян тоже??

- Предположительно, - кивнул он задумчиво.

«Заговор», - блеснуло мне. «Стало быть, там заждались. Они уже не верят в мои силы».

Что же… вероятно, такая концентрация назрела. Мы переселяем всех мыслящих сюда и оставляем остальной мир за ограждением без руководства… а разве оно было? Но это не меняет *моей* программы.

Мы еще сходились, но все больше гуляли молча, и я чувствовал, что отдаляюсь от него. Однако одна встреча – это было в последний раз – не могла не запомниться мне одной сценой. Я попросил его рассказать о себе – я, конечно, не предвидел того, что произошло! Он некоторое время молчал.

- Видите ли, - начал он в своей манере, - я не сразу был воплощен… Впрочем, это не важно. – Кажется, он внутренне увлекся воспоминанием и совсем ушел в себя.

- И… как же?

- Воплощенный, я, понимаете ли, жил… то есть, как вам сказать? Я ходил по земле, имел разные дипломы… Но это был не совсем я.

- Вы были бог? – что меня толкнуло на неловкость, я не знаю. Уж очень долгими становились паузы. Но, главное, в момент вопроса, прямо в эту секунду что-то мелькнуло опять, опять! – и я упустил, потому что не готовился. (Вот недостаток «метода кота»! Коту нужно время выжидания, но именно выжидания, а не пустоты. Кот сосредоточен на задаче, он весь внимание, а я, эх!) И меня это сбило.

- Что вы! – испугался И.И. – Я не был бог. Но во мне… он сидел. Просто он был очень маленький и все время спрашивал. Как, знаете, ребеночек… - Он умолк опять.

- И теперь так?

-Теперь нет. Теперь я оставлен. Я не мог ответить ему… понимаете ли, ни на один вопрос! Я прочел все, что мог – кроме *той* классики, я прочел этих всех – Конта, Спенсера, Кьеркегора, Хайдеггера, Ортегу, всех нынешних – Фейерабенда и так далее, я прочел все, что мог найти на четырех языках! И наших – Флоренского, Лосского, Трубецких, Сергея Булгакова, понятно, Бердяев, и прочее. Я прошел все их круги отчаяния. Я хотел его вернуть.

- Он… совсем не возвращается?

- Нет. Совсем. Здесь нужно собрать… понимаете, нужно собрать здесь всех, теперь, иначе мы опоздаем! – заговорил он вдруг возбужденно. – Он уйдет совсем! Сейчас, нужно сейчас! – Он больно сжал мне руку ниже локтя, сильно, как в клещах. Я вскрикнул от боли. Я видел чужие глаза – совсем не его, а точно взгляд племенного вождя. Но уже бежал к нам Олег и с ним еще санитар, И.И. оторвали от меня. Он ослабел и почти висел между ними. Моя левая рука ныла, как от ушиба, я сжимал ее другой рукой.

Что он, бедный, хотел там найти, у этих Контов и Фейерабендов?

Я плохо спал ночью, болела рука, но перед утром кто-то пел дуэтом высокую, такую нежную песню и так хорошо, что во сне я плакал.

Я сейчас вдруг понял: истинное благо России в ее дураках и дорогах. Николай Васильевич именно это хотел сказать, он просто оговорился! Дураки и дороги спасут ее от врага. Враг не проедет по ее дорогам – завязнет или свалится в кювет. Это совершенно ясно. А дураки посмеются, а потом станут помогать ему выбраться! И враг перестанет понимать что-либо и сойдет с ума. Тот, кто улучшает у нас дороги, улучшает их для врага. Бедствие России – в умных. Умный будет искать то, чего нет, и ни черта не поймет. Поэтому умных всегда ссылали. Это полностью ясно. Этот вопрос я полностью закрыл. Больше я не занимаюсь историей России, она полностью ясна. Все ее беды от умных. Чем больше дураков и чем хуже дороги, тем лучше русская жизнь. Поэтому сейчас она становится хуже: дураки вымирают, а дороги улучшаются. Нужно это остановить. Для дураков нужно больше партий, диспутов, разных зрелищ, олимпиад: дураков станет все больше, они покроют собой Россию. Дороги ни к чему, они везде пройдут без дорог. Вернется прежняя радость жизни. Нужно сказать И.И., что я не занимаюсь больше историей России: она ясна. Дураки и дороги – это золото России. Все беды от умных. А для них вот что: рисовая каша и чай. Разумеется, это внешняя сторона. Сущность должна быть определена особо, разумеется! Простота… дети… это уже я думал. Не это. Там иное. Нужно спешить. Мой И.И. прав. Они там брошены одни. Ведь все мы здесь, а у них там совсем никого.

…Вот что я еще обнаружил: у меня молодая душа! Как-то у врача (там зеркало) я мельком посмотрел в него… мое лицо… это было странно. (Нам зеркало нельзя, не дают, его потом перенесли, я заметил)… нет, это ерунда. Мамочка моя миленькая, как же это мне пятьдесят лет? Куда же подевались они? Мамочка, миленькая моя! Никакого зеркала не было. Надо выяснить. Но как запомнить? А вот как: нужно записать. Я просто молодец. Я не шизофреник. Нужно успокоиться. Не то опять придут. Просто я победил и они не догадываются. Это нужно скрывать. Победителей никто не любит.

Я вспомнил! Весна, солнце, и мы идем в школу с портфелями. Уже можно идти в рубашке и это, наверное, апрель. И вот – эти камешки в воде под водосточной трубой – я остановился, а другие пошли дальше. Они пошли дальше, а я остался там, вот почему всё! Вот почему! Все пошли дальше, а я остался смотреть. Эти камешки в лужице чистой-чистой воды и сами камешки такие чистые-чистые, самые обычные камешки, между ними и обломочки кирпича, но будто драгоценные, такие они чистые! Вот эти камешки… и что-то промелькнуло. Что чистота и есть драгоценность, что ли… нет, это я теперь… тогда я только замер, не мог насмотреться. Ничего не промелькнуло, нет! Оно только остановило. И я стоял. Как-то преломлялось в этой прозрачной ребристой лужице солнце, и их чистота словно играла! Она была каждую минуту новой. Вот эти камешки: спасите меня. Спасите меня, выведите меня! Выведите меня!

Все-таки пришли. Значит, я кричал. Сейчас будут тащить за ноги. Лучше я сам.

Я не могу остановить движения теней. Они живут вне меня. Ночью они движутся вокруг кровати – не только моей, но вокруг всей четверки кроватей в нашем… общежитии – медленный хоровод вдоль стен, хоровод теней. Кажется, они хотели бы мне что-то сообщить: какое-то слово или несколько слов, точно код оттуда… и открылось бы то, что я ищу. Но они не подают мне никакого знака, словно совсем чужие. Они чего-то остерегаются? Днем я читаю и пишу, и их нет.

Но я дождусь разгадки. Я знаю, она близка.

*Записи были собраны и переданы издателю одним из санитаров перед известным ночным пожаром в лечебнице в Н-ском районе Московской области, в котором погибло почти два десятка человек пациентов и персонала. Выгорело целиком лечебное отделение и пострадали два других. О силе пожара говорит то, что от пламени и тления груды макулатуры деформировались три секции бетонного забора. По неизвестным причинам возгорание не тушили более трех часов. Небольшую часть записок, посвященную в основном описанию районного центра Н-к, позднее передал бывший второй секретарь Н-ского горкома партии, сосед Щ. по палате (их отделение не пострадало). Листки были переданы им строго на условии заказа молебна по пациентке Вере Д., сгоревшей в пожаре. Она сопротивлялась выводу из палаты из-за затерявшегося мобильного телефона, когда вдруг заклинило неисправную дверь. С ней вместе погибла в огне медсестра.*